

ЗКН(092) Фел(4/8)/8
Ф 68

Эрнст Фишер

СИГНАЛ



Эрнст Фишер

СИГНАЛ

БОРЬБА ДИМИТРОВА
ПРОТИВ ПОДЖИГАТЕЛЕЙ ВОЙНЫ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Москва · 1960

Книга Эрнста Фишера — видного прогрессивного писателя и крупного политического деятеля Австрии — посвящается бессмертному подвигу Георгия Димитрова. В книге, написанной в 1946 году, в яркой, публицистической форме рассказывается о беспримерной борьбе Г. Димитрова против германского фашизма на Лейпцигском процессе, о его победе над Герингом и Геббельсом, над всем правительственным аппаратом фашистской Германии.

ПРЕДИСЛОВИЕ

Народы победили. Невиданная по своим размерам война закончилась. Эта война была столкновением не только армий, вооружений, усилий обеих сторон в технической и экономической областях, но и прежде всего столкновением общественных идей. Великая идея свободы оказалась сильнее необузданных и бредовых концепций империалистических тиранов. Сила и достоинство свободных людей, демократических наций взяли верх над манией величия фашистских человеконенавистников и унижительной покорностью «унифицированных» подданных. Права человека одержали победу над законом джунглей, человечность — над хищником, которому удалось подчинить себе мотор.

В Нюрнберге, том самом Нюрнберге, где проходили съезды национал-социалистской партии, Международный трибунал вершит суд над нацистскими главарями.

Военные преступники, выходцы из темного уголовного мира, которым удалось вломиться в мировую историю, вернулись туда, откуда они вышли, и сейчас эти рецидивисты сидят на скамье подсудимых. Ореол узурпированной ими власти рассеялся, хвастливый пафос, с которым они пытались представить себя сверхчеловеками, превратился в жалкий лепет; перед судом оказалась жалкая кучка убийц, разбойников, воров, презренных подонков общества, подавленных тяжестью улик, бросаемых им

в лицо. Их поведение ничем не отличалось от поведения обычных преступников, попавших на скамью подсудимых. В этих жалких остатках банды заговорщиков нельзя было обнаружить ни следа величия, ни дыхания сильной страсти и внутреннего убеждения, ни последнего отблеска того мрачного огня, который придает черты благородства даже сатане в его падении; перед потрясенным человечеством в самом отвратительном виде предстало преступление, которое в течение ряда лет превращало Европу в ад.

Процесс в Нюрнберге, эпилог трагедии войны, воскрешает в памяти другой процесс — лейпцигский, который в свое время послужил прологом, возвестившим о скором начале мировой драмы. Роли тогда были иными: преступники выступали перед общественностью в мантиях обвинителей, а на скамье подсудимых сидел человек, воплощавший идею свободы и человеческого достоинства — Георгий Димитров. Предметом судебного разбирательства в 1945 году было дело о пожаре мировой войны. В 1933 году суд занимался делом о пожаре в рейхстаге. В тайне поджога рейхстага была заключена в скрытом виде и тайна мировой войны. Бессмертный подвиг Димитрова состоял в том, что он разгадал тайну пожара в рейхстаге и тем самым показал человечеству, каким путем можно отвратить нависшую над ним угрозу пожара мировой войны. Одни и те же методы, одни и те же мошеннические приемы и жульнические трюки использовали нацистские фюреры в 1933 году, когда подожгли здание, олицетворявшее собой германскую республику, и когда несколько лет спустя раздули пожар во всем мире. В высшей степени поучительно и совершенно необходимо для обеспечения длительного мира серьезно изучить эти методы и навсегда запечатлеть в памяти людей историю возникновения преступного заговора против всего мира.

Свобода завоевана, мир устанавливается. Но и то и другое требует решительной защиты от всяких посягательств со стороны врагов свободы и нарушителей мира. Чем лучше мы узнаем историю подготовки неслыханного преступления, чем прочнее сохраним ее в своей памяти, тем успешнее сможем в будущем предупреждать подобные преступления, уничтожая их в самом зародыше. В 1933 году можно было без больших жертв положить

конец преступной деятельности фашистских поджигателей, но уже несколькими годами позже это потребовало неисчислимых жертв. Димитров своевременно показал пример; однако пример этот не был в то время в достаточной мере понят и усвоен. Теперь, после великой победы народов, историческая справедливость и чувство всеобщей благодарности настоятельно призывают нас со всей добросовестностью и с величайшим благоговением показать подвиг и живой образ Димитрова, бесстрашно защищавшего свободу и права человека перед судьями имперского суда в Лейпциге. Это мы и попытались сделать в настоящей книге.

Вена, 1 января 1946 года.

РЕЙХСТАГ ГОРИТ

«Германский рейхстаг горит!» Когда в ночь на 28 февраля 1933 года это известие облетело весь мир, ни в Варшаве, ни в Белграде, ни в Роттердаме, ни в Ковентри еще не знали, что огонь, запылавший в Берлине, мрачно возвещал: «Хотя до вас очередь пока и не дошла, но погодите: ваши крыши тоже скоро запылают и начнут рушиться. Скоро коричневый смрад и зловещий огонь поползут по всей Европе, охватывая одну страну за другой, от побережья к побережью, от континента к континенту». Человечество еще не знало этого; однако многие в тревожном предчувствии устремляли свои взоры в сторону Германии, над которой внезапно встало зловещее зарево пожара.

Сверкает оружие, отбрасывая отблески пламени. Повсюду люди в форме; лейб-гвардия — сапоги, коричневые и черные костюмы, нарукавные повязки с резко выделяющейся свастикой, карикатурно очерченные лица подонков общества. Отблески огня прыгают на возбужденных, искаженных лицах. На переднем плане трое: маленький человечек с лицом, напоминающим мордочку злой, хитрой крысы; тучная фигура с неподвижным сверлящим взглядом маньяка и третий — с черной прядью волос, спадающей на низкий покатый лоб, ниже которого начиналось что-то похожее на бесформенный студень, на котором, как большая муха, неприятно прыгают маленькие усики. И этот третий, — всего месяц назад

ставший германским рейхсканцлером,— восклицает в неистовой радости: «Это знамение, ниспосланное нам богом! Никто теперь не помешает нам раздавить коммунистов железным кулаком!» Затем он обращается к одному из английских журналистов: «Вы являетесь очевидцем новой, великой эпохи в истории Германии. Этот пожар — ее начало».

Адольф Гитлер, новый канцлер германского рейха, слишком спешит; более умный человек на его месте выждал бы немного, прежде чем давать такие опрометчивые объяснения о значении поджога рейхстага. В то мгновение, когда Гитлер это говорит, никто еще не знает, кто поджигатель; это известно только тем, кто был заранее посвящен в тайну. «Никто теперь не помешает нам раздавить коммунистов железным кулаком». Следовательно, прежде кто-то ему мешал. И поджог рейхстага лишил этого «кого-то» возможности действовать.

Рядом с Гитлером стоит элегантный господин с обрюзгим, помятым лицом: Франц фон Папен, вице-канцлер. Языки пламени, с шипеньем пробивающиеся сквозь купол рейхстага, не оказывают на него такого возбуждающего действия, как на рейхсканцлера. Он не чувствует себя расположенным к высоким словам. Он-то, кажется, знает, что Гитлер имеет в виду, говоря о помехе. Сейчас она рушится в дыму и пламени. «Это сигнал!» — восклицает кто-то, и подобное восклицание звучит, как выражение мальчишеского восторга. Эти слова принадлежат карлику с крысиной мордочкой — д-ру Иозефу Геббельсу, руководителю отдела пропаганды гитлеровской партии. На следующий день все газеты повторят за ним: «Это сигнал!» А позднее Геббельс опубликует свой дневник, в котором есть и такая запись, датированная 31 января 1933 года:

«В беседе с фюрером мы разработали основную линию поведения в борьбе против красного террора.

Пока мы намерены воздерживаться от проведения прямых контрмероприятий.

Нужно, чтобы сначала большевики предприняли попытку разжечь революцию.

И тогда в подходящий момент мы нанесем сокрушительный удар».

Итак, этот «сигнал», возвестивший наступление новой эпохи, это «знамение, ниспосланное богом», было уже за

несколько недель до этого намечено и предопределено. Дело было сделано, и Гитлер, охваченный неистовой радостью, изрек: «Эта ситуация пахнет кровью». Великое кровопускание началось. Оно длилось более десяти лет, пока все не было потоплено в крови. Третий участник этого триумвирата, Герман Геринг — кровавая туша — отдавал первые кровавые приказы. Зверя спустили с цепи. Его натравили сначала на коммунистов, на социалистов и пацифистов, а уже затем на весь немецкий народ и в конце концов на все человечество.

Поджог рейхстага был началом.

* *

*

27 февраля 1933 года. Часы только что пробили девять. Мимо той части громады рейхстага, которая обращена к западу, идет студент Ганс Флетер. Вдруг он слышит, как звякнуло стекло. Звук повторился. Флетер поднял голову и увидел в одном из окон здания промелькнувшую тень. Тут же запылало пламя. Студент бросился бежать вдоль фасада, пытаясь найти полицейского. В темноте стоял человек, внимательно наблюдавший за окном. Заметив пламя, он посмотрел на часы и, удовлетворенно кивнув головой, направился к ближайшему телефону. Однако звонил он не в полицию, а во дворец председателя рейхстага.

Этот человек, о котором в течение долгого времени нигде не упоминалось и который оставался никому не известным, был застрелен 30 июня 1934 года. Его имя Зандер, штурмовик Зандер.

А тем временем Флетер встречает обер-вахмистра Буверта. «В рейхстаге огонь!» — кричит Флетер. Обер-вахмистр убегает. Флетер смотрит на часы — 9 часов 5 минут, и направляется домой. Буверт стремительно бежит вдоль здания и внезапно наталкивается на молодого человека в черном пальто и в высоких сапогах. Между ними происходит оживленный разговор. Навстречу им спешит наборщик Таллер. Он тоже слышал, как звякнуло стекло. Он даже вскочил на парапет подъезда и разглядел на балконе ресторана две фигуры: человека, пытавшегося проникнуть в здание, и другого, который, согнувшись стоял в это время на балконе. Две фигуры.

Позднее Таллеру будут внушать, что это был обман зрения и что он мог видеть только одного человека и его тень. Таллер бежит за полицией и через несколько минут наталкивается на Буверта, которому сообщает об увиденном. 9 часов 10 минут. Теперь уже все трое — Буверт, Таллер и человек в черном смотрят на огонь, мелькающий то в одном, то в другом окне. У предпоследнего окна огонь задерживается. «Стреляйте же!» — кричит Таллер. Полицейский стреляет, и огонь исчезает. Тем временем исчез и человек в черном.

Через Кёнигсплац идут со своими женами торговец Куль и переплетчик Фрейденберг. Они тоже видели огонь в здании рейхстага, а в окнах — двух мужчин с факелами. Позднее им скажут, что это была ошибка, что их обмануло отражение в окнах. Но они ясно видели двух людей с факелами. А тем временем пламя, языки которого поднимаются все выше, уже перекинулось на шторы окон ресторана. Поручив Кулю и Фрейденбергу вызвать пожарную команду, Буверт бежит к северо-западному углу здания. Там стоит вахмистр Пешель. «В рейхстаге огонь! Позовите привратника из пятого подъезда!» — кричит Буверт. Появившийся привратник Вендт, увидев огонь, звонит по телефону инспектору здания Скрановицу, проживающему в служебной квартире недалеко от рейхстага. У Скрановица к телефону никто не подходит, но Вендт связывается с ночным привратником в доме председателя рейхстага Адерманом.

Из дома инженеров на Доротеенштрассе выходит инженер Богун. Позднее он будет рассказывать, что видел, как из подъезда рейхстага стремительно выбежал худощавый бледный человек в темной шляпе, из-под которой виднелись мрачно насупленные, взъерошенные брови; человек был одет в черное пальто и светлые брюки; он направлялся к аллее Победы и по дороге подал знак двум женщинам. Позднее светлые брюки незнакомца становились в воображении услужливого и верно-подданного инженера все темнее и темнее, пока не стали, наконец, такими же черными, как сурово насупленные брови под темной шляпой таинственного ночного призрака.

В полицейский участок у Бранденбургских ворот врывается юноша в черном пальто и высоких сапогах: «Рейхстаг горит!» Лейтенант полиции Лятейт смотрит на

часы: 9 часов 15 минут. Сообщение занесено в протокол, но у молодого человека не спрашивают имени. Никто его не узнает: юноша исчезнет бесследно. И хотя десятки свидетелей явятся добровольно дать показания, он так и останется неизвестным. Возможно, 30 июня 1934 года будет последним днем также и для него.

Лейтенант Лятейт и вахмистры Гренинг и Лозигкейт выезжают к рейхстагу. Лейтенант диктует: «9 часов 17 минут — огонь в рейхстаге. Необходимо подкрепление». Он пытается открыть подъезд, через который, по словам Богуна, выскочил человек в светлых брюках. Однако это ему не удастся: дверь заперта. Тогда он спешит к пятому подъезду. 9 часов 20 минут. Привратник Вендт и инспектор здания Скрановиц открывают подъезд. Скрановиц говорит о том, что его напугал шум, который поднялся с прибытием пожарной команды, и что он не слышал звонка Вендта. Скрановиц, Лятейт, Лозигкейт и Гренинг бросаются в здание. Немного позднее за ними следует Пешель. Портьеры и деревянные перегородки у входа в зал пленарных заседаний охвачены огнем. На полу горит чье-то пальто. Лятейт входит в зал. Над местами президиума — высокие ровные языки пламени, которые лейтенант полиции будет в дальнейшем сравнивать с органом. А Скрановиц позднее описывал пожар в таких словах: «Кроме огня над столом председателя рейхстага и за ним я видел огонь над правительственными столами и над местами, отведенными для депутатов имперского совета. Это были спокойно горевшие языки пламени. Я насчитал на местах правительства и имперского совета двенадцать-пятнадцать очагов пожара, а в целом их было около двадцати. Все очаги пламени имели почти одинаковую форму, горели ровно и были локализованы, находясь друг от друга на расстоянии полутора метров...

У окна стояло кресло. Кожа на нем оказалась прованной и в отверстие был воткнут факел, длиною примерно в руку до локтя». Поджог — это было ясно для всех. «Это не мог сделать один человек! — говорит Скрановиц. — Их было по меньшей мере шесть или восемь».

Затем он обращается к Лозигкейту: «Идемте! Я слышал там внизу какие-то шорохи». Там внизу? Да, там внизу не подвал, а подземный ход, который ведет из здания рейхстага к дому председателя рейхстага.

Так впервые был упомянут этот подземный ход. Инспектор здания Скрановиц больше об этом говорить не будет: ведь он член национал-социалистской партии, в которой состоит и председатель рейхстага Герман Геринг. Лишь позднее Адерман, ночной привратник во дворце председателя рейхстага, сообщит о том, что примерно за десять дней до пожара он слышал шаги в подземной галерее; он доложил об этом своему начальнику Скрановицу, и они оба решили, что это нужно проверить. К дверям прикрепили полоски бумаги и маленькие дощечки. До той ночи, когда произошел пожар, они несколько раз находили эти бумажные полосы порванными, а дощечки — смещенными с их мест. Следовательно, в подземный ход проникали посторонние. Однако вахмистру Лозигкейту Скрановиц об этой истории не рассказал. О таких вещах предпочитают сообщать «в высшие инстанции», лучше всего — самому председателю рейхстага. Геринг отдает приказ в ту же ночь осмотреть ход. Однако это было поручено не полиции, а эсэсовцам из охраны штаба, составляющим окружение Геринга. Эсэсовец Вальтер первым рыскал в ночь пожара по подземному ходу между рейхстагом и дворцом председателя рейхстага. И лишь более отдаленное ответвление этого представляющего собой подлинный лабиринт хода, соединяющее дворец председателя рейхстага с машинным отделением, осматривали трое полицейских.

Но все это произойдет позднее. А сейчас, в 9 часов 19 минут, покидая горящее здание, Лятейт кричит только что прибывшим пожарникам: «Пожар! Все охвачено огнем!» — и спешит к себе в участок у Бранденбургских ворот. В 9 часов 25 минут он уже в участке. Тем временем Скрановиц и вахмистр Пешель видят огонь в ресторане рейхстага; огонь бушует также и в кулуарах зала пленарных заседаний: горят занавеси, ковры и мебель. В коридоре Скрановиц и Пешель сталкиваются с запыхавшимся человеком; на нем только брюки и башмаки; он обливается потом, влажные волосы липнут к лицу. «Руки вверх!» — кричит Пешель. Ночной призрак застывает на месте и без всякого сопротивления позволяет себя арестовать — как будто он только и ждал этого мгновения. Скрановиц набрасывается на него: «Что заставило тебя поджечь рейхстаг?» В ответ человек воз-

бужденно выкрикивает: «Протест! Протест!» Пешель обыскивает карманы арестованного, находит паспорт и затем, даже не заглянув в него, прячет. Потом он выводит незнакомца наружу, накидывает ему на голые плечи какую-то скатерть и доставляет его в полицейский участок у Бранденбургских ворот. 9 часов 25 минут.

Между тем кое-кто ждет телефонного звонка. 5 марта — день выборов в рейхстаг. Предвыборная борьба достигает своего кульминационного пункта. Гитлер и Геббельс, наиболее удачливые агитаторы национал-социалистской партии Германии, выступают каждый вечер; и только один вечер, а именно вечер 27 февраля, оба они оставили свободным. Они сидят в квартире д-ра Геббельса в западной части Берлина, будто у них нет никаких дел. Должен был прийти и Геринг: он тоже свободен в этот вечер, но последний предпочитает быть вблизи рейхстага, в прусском министерстве внутренних дел. У командира берлинских штурмовиков, нового полицей-президента Потсдама графа Гельдорфа, вечер тоже свободен; однако своим штурмовикам он отдал приказ находиться в боевой готовности. Все берлинские штурмовики сконцентрированы в своих казармах и на сборных пунктах. Все чего-то ждут, но чего? Во дворце председателя рейхстага у телефона ожидает руководитель отдела печати НСДАП Эрнст Ганфштенгель; звонок раздается между 5 и 10 минутами десятого. Ганфштенгель приказывает соединить его с квартирой Геббельса. Он произносит всего два слова: «Рейхстаг горит». Но этого достаточно. Звонят Герингу, тот задает только один вопрос: «Пожар большой?» На это незамедлительно следует утвердительный ответ, и автомобиль Геринга стремительно мчится к рейхстагу. Чуть позже состоялся еще один примечательный телефонный разговор: между 9 часами 30 минутами и 9 часами 45 минутами взволнованный голос просит к телефону главного редактора газеты «Берлинер цвелф ур блаттс» Франца Геллеринга. У телефона «ясновидящий» Эрик Гануссен; его интересует, найдены ли виновные. И когда ему говорят, что еще ничего точно не известно, Гануссен заявляет: рейхстаг подожгли коммунисты, и вы еще увидите, что из этого получится. «Ясновидящий» Гануссен (кстати, его настоящее имя Гершель Штейншнейдер), несмотря на свое еврейское происхождение, член НСДАП с 1930 года,

с того самого года, когда начался крутой подъем этой партии погромщиков. Он также член СА и приятель графа Гельдорфа. Гитлеровцы превозносят его как «пророка третьей империи». 26 февраля он освящал свою новую квартиру в Берлине и устроил для своего приятеля Гельдорфа и других руководителей штурмовых отрядов «оккультный сеанс». «Я вижу, как горит большой дом!» — возвещает он с уверенностью лунатика. Но уже 24 марта штурмовики увезут и убьют его в густом еловом лесу в окрестностях Берлина.

Геринг со своей лейб-гвардией из эсэсовцев прибывает к месту пожарища через несколько минут после того, как был обнаружен огонь. Действительно ли это большой пожар? Сойдет ли это за «сигнал»? Не слишком ли старателен этот обер-брандмайор Гемп, этот добросовестный чиновник времен «системы»¹, не сведет ли он «сигнал» к простому пожару средних размеров? Во всяком случае через месяц, того же 24 марта, когда нацисты убили «пророка третьей империи», Гемп был отстранен от занимаемой должности за «попустительство к проискам коммунистов в сфере своей служебной деятельности». Вскоре после этого против него и его начальника, городского советника Аренса, возбуждают дело по обвинению в махинациях с автомобилями.

Оба арестованы. А все дело в том, что в саарбрюкенской газете появилась статья, свидетельствующая о большой осведомленности редакции. В статье было написано следующее: «После того как пожар в рейхстаге был потушен, Гемп беседовал со своими инспекторами и начальниками пожарных команд и сетовал на то, что пожарные были вызваны слишком поздно и что Геринг категорически запретил ему объявить тотчас же самую экстренную пожарную тревогу. Только вследствие этого, заявил он, пожар и принял такие размеры». Гемп был вынужден выступить с опровержением этой статьи перед гестаповцами. Но, выступая перед судом в качестве свидетеля, он сказал буквально следующее: «Мне показали статью из саарбрюкенской газеты, и затем я должен был заявить, что все в ней написанное — ерунда. И это называется «опровержением»». Так или иначе, но экстренная пожар-

¹ Так гитлеровцы именовали Веймарскую республику.— *Прим. перев.*

ная тревога была объявлена только в 9 часов 42 минуты, то есть слишком поздно. Тем временем огонь усилился до того, что смог стать «сигналом», «знамением, ниспосланным богом», как высокопарно заявил корреспондентам Гитлер, который вместе с Геббельсом прибыл к рейхстагу вскоре после Геринга.

В то время как Гитлер, Геринг и Геббельс уже говорят о «коммунистических поджигателях», схваченный в рейхстаге действительный поджигатель еще только допрашивается. И это весьма необычный допрос. Его ведет доверенный национал-социалистской партии в берлинском полицей-президиуме полицейский комиссар Гейзик. Арестованного зовут Ван дер Люббе, он голландский подданный; вот, собственно, и все, что удается установить в первые часы. Гейзик сам подтвердил это, выступая на суде в качестве свидетеля: «Только после многочасового допроса удалось найти, наконец, рациональное зерно в потоке речей Люббе». И не удивительно: Люббе говорит на ломаном немецком языке, но очень охотно и возбужденно, хотя довольно путано и сбивчиво. Кроме того, его усиленно со всех сторон уговаривают. В комнате комиссара по уголовным делам Гейзика собралось более пятидесяти человек: нацистские чиновники из самых различных ведомств, штурмовики и эсэсовцы, целый нацистский зверинец. Даже Бюнгер, председатель имперского суда, обосновывая позже судебный приговор, заявил, что в ночь пожара в полицей-президиуме имела место подлинная «суматоха с допросами», которую весьма наглядно изобразил свидетель Гейзик, когда сказал, что «при допросе Ван дер Люббе присутствовали сорок-пятьдесят чиновников из различных ведомств, которые буквально заполнили маленькую комнату, где его допрашивали, и которые также ставили обвиняемому свои вопросы». В этой суматохе, в этой обстановке, напоминавшей шабаш ведьм, был оформлен первый протокол допроса Ван дер Люббе. Но задолго до этого Гитлер, Геринг и Геббельс уже информировали общественность о заранее намеченных результатах этого «расследования» и распорядились о проведении тщательно подготовленных мероприятий.

В десять часов вечера из горящего здания рейхстага стремительно выбегает некий беспорядочно одетый господин. На его лице можно прочесть следы величайшего

возбуждения: господин, как видно, очень торопится; он бежит мимо привратника Вендта на улицу, через цепь штурмовиков, обычно никого не пропускавших. Этот беспорядочно одетый господин — национал-социалистский депутат рейхстага д-р Герберт Альбрехт. К этому явно необычному инциденту Геринг не проявил ни малейшего интереса; но тем не менее его весьма заинтересовало сообщение служителя Роберта Коля, члена национал-социалистской партии, который рассказал ему, что коммунистический депутат рейхстага Торглер еще в восемь часов вечера находился в рейхстаге. Геринг направил этого услужливого человека к обер-группенфюреру войск СС Далюге, ставшему незадолго до этого руководителем прусской полиции. К Далюге явились также и два нацистских депутата рейхстага Карване и Фрай в сопровождении австрийского государственного преступника Кройера, специалиста по организации взрывов. Карване несколько лет тому назад был исключен из Коммунистической партии Германии. Он принадлежал к троцкистской группе Ивана Каца — группе авантюристов и провокаторов, которые упорно стремились толкнуть рабочих-коммунистов на гибельные для них самих террористические выступления. После того как Карване вышвырнули из партии, он со своей вооруженной дубинками бандой организовал нападение на дом коммунистической партии в Ганновере, доказав тем самым, что он достоин быть принятым в национал-социалистскую партию. Своим новым друзьям по партии он рассказывал, что группа Ивана Каца уже давно намеревалась создать «чисто немецкое рабочее движение». Так вот этот-то Карване и оба его сподвижника сообщили, что за несколько часов до поджога рейхстага Торглер бродил по рейхстагу с каким-то весьма подозрительным субъектом — «типичным преступником», который смотрел на всех злыми, колючими глазами. Далюге, ухмыляясь, предположил, что это, должно быть, тот самый поджигатель, которого как раз в данный момент допрашивают в полицей-президиуме; нужно только пойти туда и опознать его. Трое «свидетелей» направились в полицей-президиум. Там им показали сначала пьяного трубочиста, который подошел слишком близко к горящему рейхстагу. «Ведь это, конечно, не он?» Нет, это не он. Трубочист был спасен. «Теперь, господа, посмотрите на этого голландского ком-

муниста». Их усадили в темном углу служебной комнаты, где целая свора нацистских чиновников засыпала уже измученного Ван дер Люббе десятками надоедливых вопросов. «Да, это он!» — сказал Карване через несколько минут. Заявление запротоколировали, и к полуночи шитое белыми нитками дело о «коммунистическом заговоре» было состряпано. Для начала этого было достаточно; все остальное должны были довершить пропаганда и грубое насилие.

Но Гитлер, Геринг и Геббельс не дожидались даже и этих более чем скудных результатов. Уже в 11 часов вечера Геринг и Гельдорф отдали приказ об аресте всех коммунистических функционеров и некоторых социалистов и пацифистов. Руководитель берлинских штурмовиков Гельдорф позже хвалился, что он лично, не имея на то никакого указания свыше, направил для этого своих сыщиков. Геринг его дезавуировал, категорически утверждая, что, как прусский министр внутренних дел, он дал Гельдорфу официальное указание предпринять необходимые шаги. Этот инцидент, подобно слабой вспышке зарницы перед бурей, послужил предвестником зарождающегося конфликта между гитлеровским государственным аппаратом и штурмовыми отрядами, разрешение которого привело 30 июня 1934 года к невиданному кровопролитию. На событиях же, имевших место в ночь ужасов, последовавшую за поджогом рейхстага, ни в какой мере не могло отразиться, будет ли Геринг пытаться сохранить видимость «законности» или откажется от соблюдения всяких формальностей. Все уже было детально разработано. Полторы тысячи ордеров на арест были изготовлены заранее. Они были снабжены фотографиями и подписями; требовалось только поставить дату. Свора эсэсовцев и штурмовиков в течение целого дня ожидала только сигнала, чтобы начать охоту на «красную дичь», выступая на этот раз в роли «вспомогательной полиции», присматривающей за обычной полицией, которая, как опасались новые властители, могла проявить «республиканскую мягкотелость».

В одиннадцать часов вечера охота началась. Депутатов, партийных и профсоюзных функционеров, журналистов, писателей, адвокатов, врачей вытаскивали из постелей только за то, что они были коммунистами или симпатизировали коммунистам. К утру все полицейские

тюрьмы были переполнены. Большинство из полутора тысяч людей, занесенных в первый проскрипционный список, сразу же превратились в военнопленных нового режима. В эту ночь рухнули последние устои законности, уже давно ставшие шаткими и ненадежными. Период, в течение которого гражданские права, хотя и весьма ограниченные, все же соблюдались, окончился. В Германии наступило время абсолютного бесправия и полного произвола. Были отменены все записанные в конституции свободы — свобода печати, свобода собраний, свобода создавать организации, ликвидированы все законы, стоявшие на страже личной безопасности. Их место занял закон джунглей. Никакой законности больше не существовало. Однако средний немец трусливо пытался скрыть этот страшный факт от себя самого и делал вид, что в принципе все осталось по-прежнему.

Характерно, что депутат рейхстага Торглер, случайно избежавший ночью ареста, решил на следующий день добровольно отдаться в руки полиции, чтобы доказать свою непричастность к поджогу рейхстага. Он говорил по телефону своей жене: «Мне, несомненно, удастся снять с себя это подозрение. Мамочка, не плачь, все выяснится». Чудовищное впечатление производит этот разговор, ведущийся на развалинах общества, из подземных ходов и подвалов которого вылезает страшный зверь; к вою волков примешивается голос пайныки-немца, который идет к властям, чтобы оправдываться перед этим зверьем; среди грохота, сопровождающего страшную катастрофу, звучат слова, которые можно услышать от людей, мирно сидящих за завтраком: «Мамочка, не плачь, все выяснится». С улыбкой, полной беспредельного сарказма, принял министра-премьер Дильс, доверенный Геринга в тайной государственной полиции, Торглера — аполитичного политика, который не мог понять, что нет больше парламента, нет конституции, нет законности. Еще только вчера он вел переговоры с министром-премьером Дильсом о возвращении конфискованных в доме коммунистической партии печатных материалов; они вежливо обсуждали вопросы права, инстанций, компетенции. И что же? Так вдруг со всем этим покончено? Как-никак Германия, думал депутат, в конце концов — правовое и культурное государство и, несмотря на существующую в настоящее время неразбериху, «все выяс-

нится»; ведь он не сделал ничего плохого, его совесть, совесть немца, чиста, и это должны будут признать также и новые властители Германии. Так Торглер без борьбы отдаст свою судьбу в руки не знающих пощады преступников. И эту же политику безоговорочной капитуляции будут проводить вожди социал-демократии, лидеры профсоюзов; они дойдут до предела, до самого бессмысленного удручающего самоунижения. Какими жалкими выглядят надежды этих аполитичных немецких политиков на то, что, смягчив хищника своей беспомощностью, они снова смогут влачить существование, не думая о надвигающейся катастрофе!

Утром 28 февраля радио и пресса, все органы унифицированной Гитлером, Герингом и Геббельсом пропаганды вопят и неистовствуют: «Это сигнал к коммунистической революции. Коммунисты подожгли рейхстаг. У поджигателя найден коммунистический партбилет. Голландский поджигатель Ван дер Люббе во всем признался. Поджог рейхстага — результат единого фронта коммунистов и социал-демократов».

Прусское агентство печати, руководимое Герингом, сообщает: «Несомненно, речь идет о самом крупном поджоге из всех, имевших место до сих пор в Германии. Полицейское расследование показало, что очаги пожара были расположены по всему зданию рейхстага от первого этажа до самого купола... Один полицейский чиновник видел в темном здании фигуры с горящими факелами... Неслыханный доселе террористический акт большевизма в Германии... Сигнал к кровавому мятежу и к гражданской войне... В связи с возникшими серьезными подозрениями издан приказ об аресте двух ведущих коммунистических депутатов рейхстага. Остальные депутаты и функционеры коммунистической партии подвергнуты предварительному заключению. Коммунистические газеты, журналы, листовки и плакаты запрещены во всей Пруссии на четыре недели. На две недели запрещены все газеты социал-демократической партии, поскольку поджигатель рейхстага признал в показаниях связь с СДПГ. Это признание ясно свидетельствует о наличии единого фронта коммунистов и социал-демократов... государственная власть находится во всеоружии и готова уничтожить в зародыше всякое новое посягательство на мир в Германии и во всей Европе...»

1 марта это агентство сообщает: «Официальное расследование до настоящего времени... показало, что только для того, чтобы доставить на место горючие материалы для поджога, потребовалось по меньшей мере семь человек, а для того, чтобы подготовить очаги пожара и поджечь их одновременно требовалось не менее десяти человек. Вне всякого сомнения, поджигатели были хорошо знакомы с расположением помещений огромного здания; такая уверенная ориентировка во всех помещениях может объясняться только тем, что они в течение ряда лет беспрепятственно ходили по рейхстагу. Поэтому серьезные подозрения падают на депутатов коммунистической партии... Далее, так как вход для депутатов рейхстага запирается в восемь часов вечера, а коммунистические депутаты Торглер и Кенен около половины девятого приказали доставить их одежду из гардероба к себе в комнату и вышли из рейхстага только около десяти вечера через другой подъезд, в отношении этих двух коммунистов имеются самые серьезные подозрения...»

Геринг заявил в одном из своих интервью, что имеются неоспоримые доказательства того, что председатель коммунистической фракции рейхстага депутат Торглер провел в здании рейхстага несколько часов с поджигателем и что он встречался также и с другими лицами, принимавшими участие в поджоге. Он добавил, что «другие преступники, по-видимому, смогли скрыться по подземным ходам, которые, будучи связаны с котельной рейхстага, соединяют здание рейхстага с домом председателя рейхстага...»

У немецкого мешанина по спине пробегает холодок. 5 марта проходят выборы в рейхстаг. Из каждых ста немцев сорок четыре голосуют за Гитлера и восемь — за его союзников — немецких националистов. Пожар рейхстага стал свадебным факелом германской контрреволюции, погребальным факелом германской республики. «Сегодня нам принадлежит Германия, завтра нашим будет целый мир!» — поют коричневые колонны. Нацисты считают себя непобедимыми. Кто сильнее белокурой бестии?

Утром 28 февраля из вагона скорого поезда Мюнхен — Берлин выходит высокий широкоплечий человек. Гордое, смелое лицо, темноволосая величественная голова. После многодневного отсутствия он возвращается

в этот чужой для него город, в эту охваченную лихорадочной метрополию Германии. Газеты источают запах пожара и крови. «Крупная провокация, а впрочем, этого и следовало ожидать».

7 марта в полицей-президиум является Гельмер, официант ресторана «Байришер хоф». Гельмер — член национал-социалистской партии. Кроме того, он видел плакат, в котором обещано вознаграждение в 20 тысяч марок тому, кто поможет обнаружить сообщников поджигателя Ван дер Люббе. Поэтому он считает несовместимым со своей совестью немца, чтобы сенсация, которую он может сервировать, осталась в холодильнике его памяти. Еще 3 марта он обратил внимание на портрет Ван дер Люббе, напечатанный в одной из газет, и показал его своим коллегам: «Знаете ли вы его?» Нет, они его не знали. Конечно, они же не национал-социалисты, и поэтому у них отсутствует национальная бдительность. «Да ведь он частенько бывал у нас вместе с этими славянскими заговорщиками. Вообще, что им нужно в нашем добром национальном ресторане «Байришер хоф». Наверное, они чувствуют себя в пещере льва в наибольшей безопасности. Да тут нужна железная метла... Да, они о чем-то шептались, но каждый раз, когда я подходил к их столу, разговор сейчас же прекращался». Другие официанты упорно твердят о том, что они никогда не видели этого Ван дер Люббе. Гельмер имел вечером на эту тему разговор со своей женой, но та выразила мнение, что незачем вмешиваться в дела, которые грозят одними неприятностями. Гельмер тоже опасается этого; кроме того, еще не известно, что за этим последует. 6 марта ситуация уже проясняется; победа Гитлера на выборах весьма убедительна. А потом еще вознаграждение в 20 тысяч марок. Оно тоже не менее убедительно. Гельмер дает официальное показание, что Ван дер Люббе летом и поздней осенью 1932 года встречался в ресторане «Байришер хоф» с подозрительными иностранцами, вероятно, русскими большевиками. Ну, а что было позднее, перед самым поджогом рейхстага? Не может ли усердный официант что-нибудь такое вспомнить? Ну, конечно же, он может, если его призывает к этому нация и манят 20 тысяч марок вознаграждения: «Вечером, перед тем, как вспыхнул пожар в рейхстаге, состоялась последняя встреча». Это как раз то, что нужно. «Большевики регу-

лярно посещают ресторан «Байришер хоф»»,— говорит Гельмер. Итак, когда они придут в следующий раз, немедленно сообщить!

9 марта Гельмер звонит по телефону: «Они снова здесь!» Полицейский чиновник тотчас же отправляется в ресторан. За столом высокий широкоплечий человек с темноволосой величественной головой и еще двое несколько помоложе, худощавые и менее приметные. Полицейский чиновник предлагает всем троим следовать за ним. Высокий широкоплечий мужчина предъявляет документы. Его зовут Георгий Димитров.

ГЕРМАНСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ

«Эта ситуация пахнет кровью!» — торжествовал Гитлер в тот вечер, когда горел рейхстаг.

Германия давно уже стала больным местом, зияющей раной Европы. В годы временного экономического подъема, еще до того, как начали ощущаться подземные толчки мирового экономического кризиса, сложилось впечатление, что рана начала постепенно подживать. Однако это был только тонкий струп, образовавшийся на ране, который, затягивая ее, создавал лишь ложное представление о состоянии здоровья. Болезнь, которой страдала Германия, гнездилась очень глубоко. Она дала о себе знать еще в 1914 году, когда германский империализм впервые заявил о своих претензиях на мировое господство. В 1918 году рана уже зияла. Только великая германская революция могла бы преодолеть катастрофу, обновить и спасти Германию. Но революция застряла в самом начале своего пути. Национальная болезнь — этот вечный заговор прусских юнкеров и хозяев германской тяжелой промышленности против народа, против всех демократических устремлений, против мира в Европе и во всем мире — носила в Германии хронический характер. Ни внешние, ни внутренние силы, ни победоносные державы, ни сам немецкий народ не сломали хребет германскому империализму — гибриду юнкерства и касты хозяев тяжелой промышленности.

Если судить, не углубляясь в суть дела, то можно ска-

зять, что начиная с 1918 года Германия была демократической республикой. Кайзера «божьей милостью» не стало. Вместо него был выборный председатель рейхстага — социал-демократ и весьма тщательно разработанная конституция, которая гласила, что всякая власть исходит от народа; был парламент и демократические свободы; но все это было не настоящее, все это были эрзацы: не натуральные земные плоды, а химические препараты. В своих поместьях, как и в стародавние времена, сидели юнкеры, хозяйничавшие также и в рейхсвере. В своих концернах, никем не контролируемые, как суверенные господа, действовали старые короли угля и стали, те, которые фактически хозяйничали в войну 1914 года: Круппы и Тиссенy, Кирдорфы и Стиннесы. В служебных креслах восседали старые бюрократы — судьи и прокуроры, руководители учреждений и министеряльраты. Они называли себя «аполитичными», считая «политикой» все, что стояло левее Немецкой народной партии, в то время как Пангерманский союз и черно-бело-красные военные организации не были для них прозаической «политикой», а олицетворяли нечто возвышенное — «честь нации». И все они — юнкеры, хозяева концернов, деятели государственного аппарата — были теснейшим образом связаны родственными узами; постоянно, упорно и сплоченно выступали они против республики, стоило только поскрести немного фасад демократической Германии, и на свет проступала другая Германия — Германия, пораженная тяжелой болезнью, обреченная бедствием; Fridericus Rex¹, помноженный на германский Стальной трест. Демократическая республика была чем-то случайным, а прошлое, которое объявили мертвым, не было в действительности таковым; не вымерли и величественные старцы времен кайзеровской империи: Кирдорф, Ольденбург-Янушау, Пауль фон Гинденбург. Они шумели и требовали все более широкого «жизненного пространства».

В относительно спокойный период временной экономической стабилизации, в самые лучшие времена республики проходят выборы рейхс-президента. Идет 1925 год. Нет ни хозяйственной разрухи, ни кризиса, однако из-

¹ Фридрих II (1194—1250 гг.) — император «Священной Римской империи». — *Ред.*

бранным оказывается не сугубо умеренный, весьма правый кандидат республиканцев, а фельдмаршал Гогенцоллернов, полководец мировой войны Пауль фон Гинденбург. Граф Вестарп, председатель немецкой национальной народной партии, в рейхстаге комментирует это событие. Он с холодной издевкой замечает, что не следует придавать слишком большого значения присяге на верность республике, которую дал Гинденбург, и добавляет: «Я не верю в победу республики. 14,6 миллиона человек, которые 26 апреля отдали свои голоса Гинденбургу, проголосовали тем самым за сильного человека, выразив стремление освободить нас от идеи республики и восстановить честь и свободу Германии». Это был предельно ясный язык: принцип фюрерства, восстановление «честь и свободы» Германии, реванш, стремление и воля к продолжению войны 1914 года. И в то же самое время убийцы, стреляющие в республиканских государственных деятелей, профессиональные бандиты, выполняющие приговоры тайного судилища («Феме»), либо остаются «не обнаруженными», либо получают смехотворные наказания; черный рейхсвер и «союзы обороны» — ландскнехты контрреволюции и будущей войны — вооружаются на средства, получаемые от сбора налогов, и на деньги магнатов тяжелой промышленности. Организовывать путчи против республики стало довольно безопасным занятием; гораздо опаснее защищать ее. Вся демократическая республика, все большие и малые коалиции преследуют, кажется, только одну цель: решительное наступление на коммунистов, постоянная охота за призраком «большевизма». «Враг слева!» — таков извечный лейтмотив, и если подлинный демократ осмеливается, как это сделал депутат партии центра Вирт, заявить: «Враг находится справа!», то по всей республике, как лязг мечей и рокот волн, разносятся вопли негодования. Каждая партия во что бы то ни стало хочет доказать, что именно она является лучшим оплотом против коммунистов. Из 30 миллионов голосов, поданных на президентских выборах 1925 года, коммунисты получили лишь 2 миллиона, а реакционеры — враги республики и демократии — почти 15 миллионов. И все же эти удивительные государственные деятели республики и демократы в дальнейшем охотнее пойдут на соглашения с юнкерами, с магнатами угля и стали, с самим дьяволом, чем с коммунистами. Это

республика, пораженная болезнью, это призрачная демократия.

Внимательные наблюдатели догадывались о наличии этой болезни уже в те годы, когда рана еще не зияла, а была затянута республиканско-демократическим струпом. Великий датский писатель Мартин Андерсен-Нексе писал после пожара в рейхстаге: «Уже перед войной (1914 года) под спудом таилось все, что сегодня открыто вылезает наружу при ярком дневном свете... Реакционеры имелись и в других странах. Но прусское юнкерское землевладение было настоящим заповедником мировой реакции: здесь, на земле, которую занимали прежде — уничтоженные ныне империей — 350 тысяч свободных крестьянских дворов, засели и еще прочно сидят юнкеры — основа основ вильгельмовской империи. Отсюда вылетел этот выводок... Германия казалась тщательно обработанным участком земли, на котором, однако, в любой момент могли вновь бурно разрастись сорняки, заглушая и уничтожая все... Широкие слои населения не в состоянии были в целом разделаться с «духом господ» и расстаться с вытекающим из него рабским духом. Даже в немецком рабочем движении — «самом сильном в мире» движении, служившем в течение длительного времени примером для других, царил скорее корпоративный дух, нежели стремление к человеческому самоутверждению...» Пережиток средневековья — юнкеры-помещики, эти «допотопные чудовища», как называл их еще во времена Наполеона барон фон Штейн, — наложил неизгладимый отпечаток на облик Германской империи. Прусский помещик, прусский тюремщик, прусский милитаризм, прусская бюрократия вместе с новыми финансовыми и промышленными магнатами создали «Германскую империю прусской нации».

В квартире французского рабочего или мелкого буржуа висит картина «Взятие Бастилии», показывающая рождение Французской республики. В немецких гостиных не только у буржуа, но и у многих немецких рабочих висела другая картина — «В Зеркальном зале Версаля», изображающая рождение кайзеровской Германской империи. В этом разница. Не утренняя заря демократического единства, а сверкание касок и блеск мундиров отражались в глазах юного немецкого гражданина. Крутой экономический и политический подъем, наступивший

после основания империи, и то, что Германия быстро нагнала передовые в техническом и промышленном отношении страны, ослепляли нацию. Стремительно развивающийся, проникнутый юнкерской идеей господства, безмерно переоценивая свои силы, полный милитаристского чванства, германский империализм решил завоевать весь мир. Из катастрофического поражения в мировой войне 1914—1918 годов народные массы не извлекли уроков. Значение военного разгрома не дошло до сознания нации; в страну пришли не армии победителей, а собственные, германские полки в полном воинском порядке. Это осталось в сознании. На этом можно было построить легенду об «ударе кинжалом в спину». Мирный договор только вызвал озлобление и не принес положительных результатов. На нем лежала печать половинчатости. Вместо того чтобы дать шансы немецкому народу, он предоставлял германскому империализму возможность снова восстановить свои силы. Система сложных и порой невыполнимых условий договора вызвала в Германии раздражение, но мощь военщины не была уничтожена. Старый меч не был сломан; его только зарыли, как некогда легендарный меч Аттилы. Державы-победительницы поддерживали не движение масс против виновников войны, против юнкерства и магнатов тяжелой промышленности, а самих этих виновников, боровшихся с этим движением. Они помогли им представить поражение историческим недоразумением, результатом «предательского удара, нанесенного кинжалом в спину», и переложить вину на «евреев, марксистов и демократов». Немецкий филистер охотно поверил этому; это звучало так приятно: «На поле боя не побеждены, и лишь путем предательства и обмана лишены победы!» И поскольку перед международным судом не предстал ни один немецкий военный преступник — ни фельдмаршал, ни прусский юнкер, ни Крупп, скоро начались другие события: по приговорам тайных судилищ стали истреблять тех немецких государственных деятелей и народных трибунов, которые не желали продолжать политику военных преступников.

В период с 1918 по 1923 год Германия находилась в состоянии сильнейшего внутреннего брожения. Два мощных потока бурлили в стране, находившейся на историческом распутье, бурлили беспорядочно, хаотично, часто

сталкиваясь в душе одного и того же немца: оскорбленное национальное чувство, из которого возникла еще не осознанная потребность в национальном обновлении, и возмущение против господствующего слоя Германии, порождавшее глубокое стремление к социальному обновлению. Какое из этих течений победит? От этого зависело все. Если силам социального обновления удастся включить в борьбу против подлинных врагов Германии, против империалистических политиков, ведущих страну к катастрофе, также и мощь оскорбленного национального чувства, если им удастся показать, что социальное обновление означает также и национальное возрождение, тогда Германия, а с ней и Европа будут спасены. Если же сделать это не удастся, германские империалисты одержат победу и смогут внушить массам ложную мысль, будто единственным выходом из социального и национального кризиса является реванш, война за положение мировой державы. Перед Германией, находившейся в состоянии брожения после катастрофы 1918 года, стояла только эта неумолимая дилемма: или — или! Если внутри страны не выкристаллизуется подлинно новая, очищенная от империалистической скверны Германия, это неизбежно вызовет катастрофу в международной области, приведет к сильнейшему взрыву.

1923 год был переломным. Социальная волна разбилась, националистическая поднялась вверх. Во время мюнхенского путча впервые заявила о своем существовании новая партия, партия нацистов. Во главе ее стояли не старые деятели реакции, а империалистические авантюристы, подонки потрясенного в самых своих основах общества. Чуткий инстинкт, свойственный деклассированным элементам, прошедшим огонь, воду и медные трубы, помог им ощутить великий процесс брожения. Они понимали: в этой беспокойно бурлящей Германии поведет за собой массы тот, кто сумеет спаять воедино социальные и национальные страсти. Для пропаганды: национал-социализм. Истинная цель: война. Их дьявольский план состоял в том, чтобы по-своему использовать и стремление к социальному возрождению, и потребность в национальном обновлении, превратить их из средства спасения в смертельный яд. Ни одна партия в Германии не смогла найти правильного решения; теперь появились — так

история наказывает за всякое упущение — ложные пророки идеи, якобы дающей возможность разрешить все проблемы, аферисты, мошенники, беззастенчивые шарлатаны, всем обещающие исцеление. Так как был упущен момент, когда объединенные силы народа с помощью европейской демократии могли стереть германский империализм с лица земли, этот ужасный очаг гниения продолжал развиваться. Болезнь получила новое заманчивое название — национал-социализм.

Лихорадочные пятна, так сильно проступившие в 1923 году, временно утратили свою яркость. Пока экономическое положение улучшалось, пока во всем мире еще были живы иллюзии стабильного экономического процветания, пока немецкая индустрия, работавшая на экспорт, находила мир для себя выгодным, она поддерживала «политику выполнения» условий договора, проводимую Штресеманом, политику постепенного снижения репараций, постепенной ликвидации Версаля.

В 1929 году мечта о «вечном процветании» рухнула. В том же году хозяева немецкой тяжелой промышленности выступили против политики Штресемана. Крупнейшие магнаты угля и стали — Шпрингорум, Кирдорф, Тиссен, Феглер, генеральный директор Стального треста, — потребовали от Гугенберга, вождя немецкой национальной народной партии, чтобы он вызвал бурю народного возмущения против «плана Юнга» и репараций. Гугенберг выдвигает для этой цели Гитлера — доморощенного политика, мастера лжи и беззастенчивой демагогии. Он дает ему деньги, спускает с привязи этого шарлатана, вожака преступной партии погромщиков. Вдвоем они организуют плебисцит, но собирают всего 6 миллионов голосов. Их время еще не пришло. Но скоро оно наступит. В 1930 году в Германии — уже 3 миллиона безработных. Терпят крах предприятия — малые, средние, гигантские. Кризис перемалывает судьбы сотен тысяч маленьких людей — ремесленников, торговцев, служащих, интеллигентов. Нужда бродит по деревням, крестьянин начинает терять почву из-под ног. Людей охватывает страх, растет паника. Повсюду появляются предсказатели, астрологи, основатели сект, всевозможные шарлатаны. В сентябре происходят выборы в рейхстаг. За национал-социалистов голосовали прежде 800 тысяч избирателей; теперь за них голосуют 6400 тысяч. Полу-

чив 107 мандатов, партия Гитлера становится второй по значению партией страны, крупной политической силой.

В этот год кризиса и общественных потрясений зревают грядущие, несравненно более страшные катастрофы. Руководящие круги германского финансового капитала и рейхсвера окончательно принимают решение отказаться от политики постепенной ликвидации Версальского договора и бросить Германию в новую империалистическую авантюру, в новую войну. В этом основном вопросе существует полное единодушие между юнкерами и промышленниками, между генералами и политиками из реакционных партий, между различными экономическими группами и политическими группировками внутри сплоченного лагеря заговорщиков, замысляющих организовать и развязать войну. Все они хотят войны, введения «авторитарного» военного режима, беспощадной военной диктатуры. Относительно цели все эти господа, заинтересованные в войне, договорились; когда же речь заходит о средствах ее достижения, между ними разгорается ожесточенная борьба. Каким путем следует идти к желаемому результату? Какие следует взять темпы? Как должна выглядеть военная диктатура, кто будет ее осуществлять? Как сломить сопротивление широких народных масс, не желающих новой мировой бойни? Какими должны быть цели войны, какую принять военную концепцию? Следует ли на первый раз ограничиться завоеванием Австрии, Чехословакии, разгромом Польши, покорением Франции, или нужно идти дальше — поход против Советского Союза — захват Украины, Кавказа, Урала, против Индии, прыжок в неизвестность. Определить цели войны точно или же ничем не ограничивать своего аппетита. По всем этим вопросам идет борьба. Тут и вопрос о власти, о перспективах, о борьбе групп, клик, отдельных личностей из лагеря германских империалистов, всех, заинтересованных в войне. Совместная борьба против народа, против мира — вот что объединяет волчью стаю, вот что лежит в основе гигантского военного заговора. В остальном они готовы в любой момент растерзать друг друга.

Здесь юнкеры, объединенные в Имперский союз землевладельцев, уже давно обреченные историей на гибель, — олицетворение всяческой гнили, жестокости, коррупции, все еще существующей в Германии. Престарелый

Гинденбург — их символ, престарелый Ольденбург-Янусау — их истинный представитель: ненасытный обжора, заплывший жиром, жадный и бесстыдный, хитрый и высокомерный. Для него Германия — это Пруссия, а Пруссия — это прибыли, которые приносят ему его поместья. Во время мировой войны он приказывал оставлять необработанными громадные земельные площади, потому что цены на пшеницу были недостаточно высоки. Это ему принадлежит изречение: «Для того чтобы разогнать парламент, требуется лишь один лейтенант и десяток солдат».

Гитлеровская партия, которая в 1930 году, словно комета, предвещающая бедствия, возшла на небо, омраченном кризисом, комплектуется в своей основе из деклассированных элементов, всякого рода неудачников, офицеров, не сделавших карьеры, спившихся студентов, разоренных аристократов, отчаявшихся мелких буржуа, крупных и мелких авантюристов, профессиональных убийц, вожakov отрядов добровольческого корпуса, шпионов и уголовников. Учитывая такой состав гитлеровской партии, некоторые наблюдатели приходили к ложному выводу, что политика гитлеровцев является в основном войной деклассированных элементов против всех классов и слоев буржуазного общества, что господство национал-социалистической партии представляет собой бонапартистскую диктатуру, подавляющую все классы и слои общества. Это абсолютно неправильное представление: политика Гитлера с самого начала служила интересам наиболее могущественных и реакционных немецких финансовых магнатов, она с самого начала была поставлена на службу самым оголтелым германским империалистам. И не случайно именно магнаты германской тяжелой промышленности с самого начала заинтересовались этой новой партией, а Кирддорф, главный акционер Гельзенкирхенского горнопромышленного общества, основатель Рурского угольного синдиката, уже давно установил контакт с Гитлером. Когда Гитлер добился в 1930 году своего первого крупного успеха на выборах, когда его партия стала серьезной политической силой, он немедленно вышвырнул из национал-социалистической партии всех тех, кто был заражен антикапиталистическими настроениями, стремясь отличиться в этом перед своими господами и повелителями. Руководитель службы печати НСДАП

Отто Дитрих, издавна осуществлявший связь между Гитлером и западногерманской тяжелой индустрией, довольно живо описал поездку «фюрера» к закулисным хозяевам Германии. В своей книге «С Гитлером к власти» он рассказывает, как летом 1931 года «фюрер в своем «Мерседес-компрессоре» объехал всю Германию. Повсюду он вел беседы доверительного характера с видными деятелями... Последствия этих бесед не замедлили сказаться... 27 января 1932 года навсегда останется знаменательным днем в истории НСДАП. В этот день фюреру удалось добиться признания у капитанов западногерманской индустрии. В Промышленном клубе Дюссельдорфа Гитлер достиг в этот вечер решающего и окончательного успеха. Фриц Тиссен выступил перед этим высоким собранием с обнадеживающим признанием, что «только национал-социалистское движение и дух его фюрера могут обеспечить поворот в судьбах Германии...» Тиссен заключил свою речь словами: «Хайль, господин Гитлер!»»

Не следует, конечно, упрощать вопрос. Германские империалисты — это отнюдь не восседающие где-то за кулисами мифические существа, которые из всех политиков сразу же отдали предпочтение именно Гитлеру, из всех партий — партии национал-социалистов. Германский финансовый капитал, германский империализм представляли и представляют различные группы, клики, личности, которым, несмотря на многие общие цели, был присущ также и ряд внутренних противоречий и разногласий. Мы уже установили, что ведущие группы, клики и отдельные лица объединились в 1930 году в один большой лагерь заговорщиков с целью подготовки и развязывания войны; но мы также установили и то, что по вопросам о путях, темпах, дележе власти между ними разгорелась ожесточенная борьба. Гитлер со своей национал-социалистской партией был одним из тех факторов, который входил в весьма сложные и авантюрные расчеты германского империализма; решающим фактором гитлеровская партия стала лишь после того, как она прошла путь, заполненный кровью и грязью, жестокостями и интригами, и поджог рейхстага был одним из важнейших этапов этого пути.

Свой первый удар империалистические военные заговорщики нанесли парламентскому правительству, во гла-

ве которого стоял социал-демократ Герман Мюллер. Генерал Шлейхер пригрозил от имени рейхсвера: «Социал-демократы в правительстве нетерпимы. Если Мюллер не уйдет со своего поста, министр рейхсвера генерал Гренер подаст в отставку». Демарш был понят, и Гинденбург распрощился со своим преданным рейхсканцлером, о котором он в свое время сказал: «Весьма порядочный человек. Жалко, что он социал-демократ». Генерал Шлейхер посадил на его место нового рейхсканцлера, никому доселе не известного депутата партии центра Брюнинга. Новый рейхсканцлер вступил на этот пост не от имени своей партии, а от имени президента, фельдмаршала; он стал канцлером не по воле рейхстага, а рейхсвера и возглавлял не парламентское, а «президентское» правительство. Новый глава правительства ясно заявил, что он не связан ни с какой партией и будет управлять даже и против воли рейхстага. Он назвал свое правительство «кабинетом фронтовиков». Началось насаждение «фронтowego духа», зазвучали призывы к укреплению обороноспособности. В высших школах начали преподавание «военных дисциплин», в молодежных лагерях стали практиковать «военный спорт», а на польской границе появились «части пограничной обороны».

Одновременно юнкеров призывали увеличить посевы зерна, так как рейхсвер требовал «автаркии». В стране были установлены высокие таможенные пошлины, приведшие к прекращению импорта зерна и кормов. Были сильно урезаны расходы на социальные нужды, уменьшены заработная плата рабочих и жалование служащих, снижены проценты на вклады и урезаны пособия. В то же время колоссальные суммы были израсходованы на субсидии помещикам и магнатам тяжелой индустрии. В 1931 году терпят крах крупнейшие германские банки; правительство ставит их на ноги, «санирует». Гигантские монополистические объединения, вроде «Стального треста», требуют от государства помощи, и оно выкупает у них акции. Это ограбление народа, это разбазаривание средств, полученных от сбора налогов, раздача их ненасытным юнкерам и промышленным магнатам восхвалялись как «государственный капитализм», а наиболее услужливые теоретики даже торжественно объявляли это «шагом к социализму». Безработица стремительно растет. Если в 1930 году было 3 миллиона безработных, то

в 1931 году — уже более 5 миллионов, а в 1932 году число их достигает почти 8 миллионов. К этому нужно прибавить рабочих, занятых неполный день, обнищавших крестьян, разорившихся представителей средних слоев: настоящая пляска смерти. Брюнинг правит с помощью чрезвычайных декретов, против воли народа, против воли парламента. Какова его цель? Его деятельность представляет собой попытку так называемых умеренных сил в среде заговорщиков во имя войны установить постепенно, «тихой сапой» военную диктатуру, при которой Гинденбург стал бы правителем рейха; возможно, он подготавливает возвращение одного из Гогенцоллернов. В области внешней политики цель заключается в том, чтобы добиться отмены репараций и шаг за шагом перейти к новой немецкой экспансии, к подготовке войны, обеспечив выполнение империалистической «программы-минимум». Для хозяев тяжелой промышленности все это кажется слишком ограниченным, слишком медлительным, чересчур умеренным. Они науськивают на правительство своих цепных собак Гугенберга и Гитлера во имя осуществления своих «тотальных» требований, во имя империалистического «тоталитаризма». Ожесточенные и полные отчаяния народные массы видят, что старые партии их обманули. Завывания Гитлера, который всячески поносит «систему», оказывают магическое действие на растерявшихся, далеких от политики людей. Да, с «системой» нужно покончить, а «система» — это все, что раздражало взбесившегося немецкого обывателя даже и в лучшие времена. Это — «политика», республика, партии, рабочие организации, кооперативы, универсальные магазины, акционерные общества, словом, все, но особенно «политика». Такие настроения приносят Гитлеру в сентябре 1930 года шесть с половиной миллионов голосов.

Одновременно усиливается и влияние коммунистов. На сентябрьских выборах число голосов, поданных за компартию, увеличилось на 600 тысяч. Реакционные, шовинистические, империалистические партии широко используют этот результат выборов в своей пропаганде. Они бешено вопят о «большевистской опасности». Причем громче всех воют нацистские волки. «Свастика или советская звезда!» — печатает крупными буквами нацистская пресса. Пособники Гитлера подхватывают этот

лозунг. «Германии угрожает коммунистическая революция!» — назойливо кричат они. Похожие на истерию, эти лозунги означают на деле простое лицемерие. Хозяева германской тяжелой промышленности, юнкеры и генералы не боятся в это время коммунистической революции. 1918—1923 годы — вот когда они боялись, панически боялись немецких рабочих. Теперь же этот страх — только уловка; положение совсем иное, несмотря на глубокие общественные потрясения. Но империалистические заговорщики понимают, что большевистское пугало может толкнуть массу напуганных мелких буржуа и крестьян на поддержку движения за установление «авторитарного» режима, военной диктатуры, может запугать социал-демократических партийных и профсоюзных руководителей, а также вызвать беспокойство в реакционных кругах за рубежом и вырвать у них таким путем известные уступки. Гитлер и его сообщники особенно заинтересованы в том, чтобы возможно больше раздуть «большевистскую опасность». Они хотят внушить всему миру: в Германии борются за власть две партии — НСДАП и КПП, старые партии отбрасываются прочь, и если буржуазное общество не сдастся полностью на милость гитлеровской партии, оно будет проглочено «большевизмом».

В действительности дело обстоит иначе. Вопрос ставится так: смогут ли те силы в Германии, которые не хотят войны, не хотят уничтожения всех демократических институтов и организаций, не хотят ничем не ограниченного господства империалистических заговорщиков, своевременно и правильно оценить растущую опасность, сплотиться для защиты мира и республики и вести последовательную и решительную борьбу против врагов Германии — магнатов тяжелой промышленности и юнкерства. Кроме того, внутри империалистического лагеря заговорщиков должен быть решен вопрос: кто выиграет состязание, кто будет командовать в лагере реакции? Избиратели, которых Гитлер перетянул на свою сторону в сентябре 1930 года, принадлежат в большинстве случаев к тем слоям общества, которые еще в 1925 году голосовали за Гинденбурга, против республики, и лишь небольшую часть из них составляют те, кто был до того предан республике; среди них есть отчаявшиеся безработные, но в рядах организованных рабочих, в рабочем

классе так называемая «рабочая»¹ партия Гитлера не смогла добиться существенного успеха. Точно так же сохранил свои позиции и «центр» — крупная католическая партия.

Социал-демократическая партия Германии, как крупнейшая партия республики, несет наибольшую ответственность. В 1914 году она поддержала империалистических военных преступников. В 1918 году она помешала организовать суровый суд народа над этими военными преступниками. С ее помощью юнкеры, генералы, хозяева военной промышленности укрепили свои позиции в республике и разгромили революцию. Социал-демократическая партия была в то время главной социальной опорой старых «сил порядка», которые в полном составе перешли из кайзеровской империи в республику. Однако в марте 1930 года эти силы прогнали правительство Германа Мюллера, которое, как выразился генерал Шлейхер, стало нетерпимым для империалистических заговорщиков. Что же произошло? Социал-демократические партийные и профсоюзные руководители упорно делали вид, будто в принципе все осталось по-прежнему и дело идет только о смене правительства. Они изъявили живейшую готовность «терпимо» отнестись к новому «президентскому» правительству Брюнинга, к «кабинету фронтовиков», продолжая и дальше выступать в роли главной социальной опоры. Это было абсолютно необъяснимое ослепление, политика самоубийства. Социал-демократия несла свою долю ответственности за все чрезвычайные декреты, за ограбление народа, за «санацию» юнкеров и тяжелой индустрии, за прогрессирующую дискредитацию и подрыв демократии, позиции которой и без того были не особенно прочными. Социал-демократы не понимали, что они уже выполнили свою роль и что империалистические заговорщики, строящие преступные планы, не нуждаются больше даже в такой услужливой, терпеливой и уступчивой партии, какой была партия социал-демократов. В 1932 году в корреспонденции Имперского союза германской промышленности, напечатанной в «Дейче фюрербрифе», были трезво изложены мотивы, по которым германская каста господ дала пинок социал-демократии. Там говорилось:

¹ Нацисты называли свою партию рабочей.— *Ред.*

«Проблема консолидации буржуазного режима в послевоенной Германии определялась в основном тем фактом, что руководящая, то есть управляющая экономикой, прослойка буржуазии стала слишком малочисленной для того, чтобы одной осуществлять господство. Для осуществления этого господства было необходимо,— если только мы не намерены пустить в ход крайне опасное оружие в форме открытого военного насилия,— чтобы буржуазия привязала к себе тесными узами те слои населения, которые в социальном отношении с нею не связаны, но оказывают ей неоценимую службу, укрепляя корни ее господства в народе и тем самым становясь подлинным или конечным проводником этого господства. Этим последним «пограничным проводником» буржуазного господства была в первый период послевоенной консолидации социал-демократия...»

Далее говорилось о том, что теперь НСДАП призвана взять на себя эту функцию социал-демократии и стать в массах опорой власти империалистической касты господ. На время кризиса и войны нужна была массовая партия крайних шовинистов, партия, последовательно стремившаяся к войне, партия, способная использовать кризисные настроения и социальное брожение для поддержки принципа идеи «фюреризма», «идеи сильной руки», диктатора,— для раздувания шовинистического безумия. С бесстрастной логикой статья указывала на то, что социал-демократия выполнила свои обязанности: она «перевела революцию на рельсы социальной политики», «преобразовала борьбу снизу в систему гарантий сверху», привязала большую часть рабочего класса «целиком и полностью» к буржуазному государству. Все это было для мирного времени чрезвычайно важным, но теперь положение в корне изменилось. Далее в статье говорилось: «Буржуазный режим, заинтересованный в либеральном общественном устройстве, вынужден не только сохранять парламентаризм вообще, но он должен обязательно опираться также и на социал-демократию и мириться с тем, что она будет добиваться значительных успехов; буржуазный же режим, который уничтожает результаты этих успехов, должен найти соответствующую замену социал-демократии и перейти к более жесткому общественному порядку. Процесс этого перехода, который мы переживаем в настоящее время, потому что

экономический кризис неизбежно привел к уничтожению этих завоеваний социал-демократии, вступил в острую и опасную стадию, поскольку с ликвидацией этих достижений прекращает свое действие и основанный на них механизм раскола рабочего класса; в связи с этим рабочие начинают сползать к коммунизму и буржуазное господство приближается к той границе, за которой начинается чрезвычайное положение и военная диктатура... Избежать этой катастрофы можно только в том случае, если расколоть рабочих и связать рабочий класс неразрывными узами с буржуазным режимом... удастся другим, а именно прямым способом. В этом и состоят позитивные возможности национал-социализма».

Из этих рассуждений вытекает следующее: во-первых, социал-демократия стала для немецких империалистов бесполезной, потому что они решили перейти к «более жесткому общественному порядку», то есть к фашизму. О том, что этот переход вызван прежде всего перспективой развертывания военной агрессии, автор статьи, естественно, умалчивает. Во-вторых, германские империалисты вовсе не боятся непосредственного революционного взрыва, не боятся «большевизма»; они боятся, что рабочий класс сможет преодолеть раскол и «начать сползать к коммунизму»; под этим «руководители хозяйства» подразумевают, что борьба будет перенесена из парламента на предприятия и на улицы. В-третьих, задача НСДАП заключается в том, чтобы расколоть рабочих и привязать их к буржуазному государству «другим, а именно прямым способом».

Немецкая социал-демократия не поняла этого резкого изменения обстановки. Она не поняла, что наступил момент, когда нужно защищать республику и демократию, используя для этого все возможные силы и средства. Она располагала значительными силами. За ней шли миллионы организованных в профсоюзы рабочих, сотни тысяч прошедших военное обучение членов союза «Рейхсбаннер шварц-рот-гольд», ей подчинялась большая часть личного состава прусской полиции. Но она не только не ввела эти силы в действие, а просто покинула их, не начиная борьбы. «Сильные представители» социал-демократии Отто Браун и Карл Зеверинг были «сильны» только в борьбе с левыми элементами; когда же нужно было показать настоящую силу, Браун и Зве-

ринг быстро капитулировали. Они стали безответственными дезертирами демократии. Большинство других социал-демократических партийных и профсоюзных руководителей, проявляя прямо-таки невероятное непонимание ситуации, вплоть до самого конца торжественно заверяли, что они являются все-таки значительно более надежным «оплотом против большевизма», чем гитлеровская партия. И вообще, все республиканские партии соревновались с НСДАП в «антикоммунизме» и национализме, чем оказали величайшую услугу национал-социалистам. Как будто империалистическим заговорщикам был нужен «оплот против большевизма»! Что им было в действительности нужно, так это плацдарм для развертывания борьбы за мировое господство.

Наряду с социал-демократией партия центра была второй опорой, поддерживающей здание республики, но и эта опора была подточена червем. В партии центра имела хождение реакционная идея «сословного государства», католическая разновидность фашизма, которая была позднее проверена на опыте в Австрии и фактически лишь проложила дорогу германскому империализму. Брюнинг и вместе с ним руководитель христианских профсоюзов Штегервальд отстаивали эту злосчастную ложную доктрину и невольно превратились в пособников Гитлера и его банды поклонников кровавого Вотана. С помощью чрезвычайных декретов — в политической области и пропаганды «сословного государства» — в области идеологии они немало способствовали победе Гитлера.

В массах рабочих социал-демократов, а также рабочих, состоявших в христианских организациях, росло недовольство самоубийственной политикой социал-демократии и центра. Рабочие страдали от чрезвычайных декретов, от снижения заработной платы, от безработицы и дороговизны, от того, что их лидеры открыто капитулировали перед требованиями «руководителей хозяйства» и алчностью юнкеров. Террористические банды национал-социалистской партии — СА и СС совершали на них нападения, избивали их дубинками. Рабочие чувствовали: нужно защищаться, защищаться всеми возможными средствами. Нужно поставить перед собою цель: объединение всех рабочих организаций и всех демократических и республиканских организаций для

борьбы против фашизма и реакции. Профсоюзы, Рейхсбаннер, спортивные объединения, различные массовые организации, коммунисты, социал-демократы, демократы, республиканцы-католики, объединенные в едином фронте,— вот в чем было спасение.

Только обеспечив единство немецкого рабочего класса, объединив коммунистов, социал-демократов и демократов, можно было сдерживать натиск фашизма, только так можно было поднять силы из самых народных глубин на большое контрнаступление против сообщества заговорщиков — юнкеров и магнатов тяжелой индустрии. Это прекрасно понимали руководящие деятели германского империализма, а руководящие деятели германской демократии так и не поняли этого своевременно и до конца.

Величайшим несчастьем для немецкого народа, а позже — и для всех народов Европы было отсутствие в годы подъема фашизма (с 1929 по 1933 год) единого антифашистского народного фронта, который мог бы объединить все демократические прогрессивные силы без различия партийной принадлежности. Широкие массы немецких антифашистов хотели бороться, многие были готовы отдать свою жизнь за свободу. На выборах, состоявшихся 5 марта 1933 года и проходивших в условиях террора, последовавшего вслед за поджогом рейхстага, миллионные массы приверженцев коммунистов, социал-демократов и партии центра сохранили стойкость, доказали преданность своим убеждениям. Безыменные герои, многочисленные немецкие антифашисты подвергались преследованиям, шли на жертвы и смерть. Но у них не было ясной и смелой концепции; и им не удалось спаять воедино все готовые к сопротивлению силы и повести их на борьбу. В пользу немецкой реакции действовали такие факторы, как экономические и военные средства, сила реакционных прусско-германских традиций, влияние болезненно раздутого национализма и милитаризма, которые вошли в плоть и кровь многих немцев, а также слабое демократически республиканское сознание.

Защита свободы в Германии требовала несравненно больших усилий, энтузиазма, мужества, политической страстности и способностей, нежели это было необходимо для усиления позиций реакции. Поскольку не был

создан единый немецкий фронт свободы, вооруженный убедительной, доходчивой стратегической концепцией и сильным руководством, с той же тупой, неумолимой неизбежностью, с которой камень скатывается по наклонной плоскости, верх брала реакция. Дело шло все хуже и хуже, и если внимательно проследить историю борьбы различных клик в лагере германских империалистических заговорщиков — историю самых грязных махинаций, отвратительных афер и самых темных спекуляций, то можно ясно представить себе всю картину убожества, полного упадка и подлости господствующего слоя Германии. Это был гигантский процесс разложения, когда один за другим спадали наружные покровы, отгнивали тонкая кожа и тощая плоть цивилизации и оставались только преступления, варварство и зверства.

Правительство Брюнинга, представляющее один из слоев немецкой реакции, — последнее, в котором еще сохранились какие-то остатки порядочности. Правда, Брюнинг также принадлежит к числу тех, кто привел Германию к гибели. Своими чрезвычайными декретами он душил республику и демократию. Раздавая миллиарды в виде подарков хозяевам тяжелой индустрии и юнкерам, он оказывал поддержку могильщикам свободы и мира, помогал образованию гнойника коррупции. Он открыл широкую дорогу вооружению и милитаристскому духу. Он был проклятием для Германии, этот упрямый догматик, но он не был мошенником, шарлатаном, темным авантюристом — одним из тех, которые явились после него; эти последние уже стояли в тени за его спиной, готовые убрать его с дороги. Планы Брюнинга, который надеялся преодолеть кризис, возложив все лишения на народ, щедро поддерживая в то же время юнкеров и магнатов тяжелой промышленности, стремился постепенно ликвидировать республику и установить режим рейхсвера, режим Гинденбурга, старопрусскую «дисциплину и порядок», провалились. Для разбойничьих империалистических кругов Брюнинг был еще слишком «умеренным». Против него организуется подлинная травля. Шлейхер привлек на свою сторону Рема и Гитлера, и, интригуя против рейхсканцлера, подрывал к нему доверие Гинденбурга. Под видом «восточной помощи» для находящегося в тяжелом состоянии сель-

ского хозяйства Брюнинг швырнул в пасть юнкерам миллиард марок.

Эти деньги были промотаны, проиграны в карты, растрачены на распутство и пропиты. Хозяева химической и электротехнической промышленности Дуисберг, Бош, Сименс и другие негодуют против этого безобразия — «восточного болота». Брюнинг и его министр сельского хозяйства Шланге-Шенинген разрабатывают план переселений. Помещики, которые разоряют свои имения плохим ведением дел и растранижируют в Монте-Карло государственные субсидии, должны быть лишены земли. Их место займут крестьяне; Брюнинг берется всерьез за создание «автаркии», полного самообеспечения сельскохозяйственными продуктами. Юнкеры взбешены: «Да это же большевизм!» Брюнинг сам выступал против «большевистской опасности», и теперь это слово, возвращаясь к нему, как бумеранг, поражает его самого. Для германских империалистов «большевизмом» является все, что ставит какие-то пределы их алчности. Гитлер использует этот «шанс». Он спешит заверить юнкеров, что, если он придет к власти, ни у одного помещика не будет отобрано ни единой пяди земли; все будет совсем иначе... Сам Гинденбург вне себя: и это «президентское» правительство осмеливается посягать на прусские святыни.

Гинденбург многим обязан Брюнингу. В 1932 году Гинденбурга вторично избрали президентом, причем Брюнинг сыграл при этом известную роль. Это, конечно, похвально, но выборы имели для Гинденбурга и горьковатый привкус: на этот раз он был избран голосами республиканских партий, которые в 1925 году голосовали против него, а «Стальной шлем», почетным членом которого он является, отдал свои голоса «богемскому ефрейтору» — Гитлеру. Гитлер собрал 13 миллионов голосов, Гинденбург — более 18 миллионов. Среди этих 18 миллионов много матерых реакционеров, врагов демократии и республики, но решающее значение все же имели социал-демократические рабочие. Это весьма неприятно. Добавьте к этому, что Брюнинг еще и «большевик». Это уже невыносимо. Попрано священнейшее благо нации. Это благо — поместье Нейдек. Гинденбург получил его в подарок к своему восьмидесятилетию от «руководителей немецкой экономики». Его старому собутыльнику Ольденбургу-Янушау принадлежала идея,

промышленники дали деньги. При этом государство, президентом которого был Гинденбург, было нагло обмануто — ему не уплатили пошлин: ни той, что следует при передаче в дар, ни той, что полагается при наследовании. Теперь, при «восточной помощи», Оскару фон Гинденбургу, сыну рейхспрезидента и фельдмаршала, снова перепало кое-что; кроме того, и «нуждающиеся» промышленники вторично провели сбор средств для Нейдека, дабы несколько поправить положение поместья, разоренного скверным ведением дел. И какой-то Брюнинг осмеливается совать свой нос в эти дела. Пусть он прививает прусскую дисциплину и порядок рабочим, а не хозяевам Пруссии. Шлейхер прав, этого мятежника нужно сместить.

Шлейхер уже провел подготовительную работу. Он связал созданные Ремом штурмовые отряды, 600 тысяч человек, с рейхсвером. Он ведет доверительные беседы о свержении правительства с Ремом и Гитлером, Оскаром фон Гинденбургом и статс-секретарем Мейснером. Одновременно он создает себе прикрытия и с этой стороны; Гитлер не должен думать, что он может играть роль незаменимого. Шлейхер подсовывает министру рейхсвера Гренеру документы, из которых явствует, что Гитлер дал указание штурмовым отрядам, проходившим подготовку на востоке под видом отрядов «пограничной обороны», в случае серьезных событий не пошевеливать и пальцем в защиту «этой республики». Гренер называет это «призывом к государственной измене». Кончать с этими штурмовыми отрядами! Шлейхер заявляет, что он согласен, однако не порывает своих связей с Ремом и Гитлером. В апреле 1932 года штурмовые отряды, части СС и организации гитлеровской молодежи объявляются распушенными. Но вдруг оказывается, что Шлейхер против. 9 мая Брюнинг и Гренер выступают в рейхстаге в защиту принятых мер. Депутаты гитлеровской партии неистовствуют. Гренер едва успевает закончить свою речь, как Шлейхер подходит к нему и заявляет с холодной издевкой, что министр потерял доверие рейхсвера. Гренер уходит в отставку. В свое время он раскрыл перед своим любимцем Шлейхером все двери. Теперь Шлейхер распахивает дверь перед ним и выбрасывает его вон. 29 мая Лейпцигский имперский суд, который «во имя республики» всегда был готов поддерживать

любой заговор против нее, публикует решение, в котором объявляет запрещение штурмовых отрядов «необоснованным актом». 30 мая Брюнинга вызывают к Гинденбургу. Угрюмый старик берет какую-то бумажку и читает: «Я прошу вас не представлять мне больше на подпись чрезвычайных декретов». Для Брюнинга это означает отставку.

Камень продолжает катиться в пропасть.

Вначале на передний план выступают азартные игроки, авантюристы без убеждений и без совести: Курт фон Шлейхер и Франц фон Папен. Однако за ними уже стоит последняя опора германского империализма — уголовники, вскормленные руководителями банд, организаторами массовых убийств; начинается царство неприкрытого, неистового зверства.

Курт фон Шлейхер, ставленник рейхсвера, считает себя деятелем, стоящим неизмеримо выше всех этих гражданских политиков. Эти серые посредственности так серьезно относятся к своим банальным взглядам и так торжественно их декларируют. Он, элегантный офицер, благородный циник, аристократ без программы и мировоззрения, считает, что проник в самую сокровенную суть политики. В действительности же Шлейхер разбирается в движущих силах, в основных законах политики хуже, чем самый незначительный провинциальный секретарь какой-нибудь массовой организации. Для него политика — это лишь игра интриг и ситуаций; для того чтобы заниматься ею, нужно иметь только холодный ум, крепкие нервы и, отрешившись от всяких моральных предрассудков, не связывать себя никакой программой и никаким мировоззрением. Этот «серый генерал», скрывавшийся за кулисами, целые годы вел за зеленым столом свою игру; и вот теперь он выходит на передний план, насмешливый и самоуверенный: теперь-то он им покажет, как выигрывают игру. Но очень скоро он ее проигрывает. Он лишается власти, а вскоре теряет и жизнь. Другой игрок, Франц фон Папен, «глупый Франц»; этот, по мнению Шлейхера, жалкий паяц, уже через несколько месяцев переигрывает его. Ведь этот второй игрок в условиях опустившихся на Германию мрачных сумерек обладает некоторыми преимуществами перед более одаренным и более образованным генералом: он подлец до мозга костей, негодяй без малейших

следов достоинства и чувства чести. Он хорошо усвоил ту истину, что нужно всегда и всюду быть заодно с юнкерами и хозяевами тяжелой промышленности, с самыми внушительными силами большого военного заговора.

1 июня 1932 года правительство Папена-Шлейхера приступает к исполнению своих обязанностей. От Гитлера они получили обещание, что национал-социалистская партия будет их поддерживать. Гитлер торжественно повторил это обещание во время аудиенции у Гинденбурга. Немецкая национальная народная партия также поддерживает правительство. В конце апреля при перевыборах в Пруссии гитлеровцы становятся самой сильной партией. 20 июля прусское правительство распускается и в Пруссию назначается рейхскомиссар. Министр внутренних дел социал-демократ Зеверинг и член партии центра министр Гиртзифер временно продолжают исполнять свои обязанности. Демократ статс-секретарь Абек пытается договориться с коммунистами. Он устраивает встречу премьер-министров Баварии, Вюртемберга и Гамбурга с Зеверингом, чтобы организовать совместное сопротивление планам государственного переворота, намеченным Папеном.

Зеверинг считает, что имеет больше смысла договориться с Папеном. Абек и Клеппер, который распоряжается прусской государственной казной, требуют организовать сопротивление теперь или никогда. Офицеры прусской полиции также настаивают на сопротивлении, но тщетно. Зеверинг заявляет: «Нельзя допустить кровопролития». Сколько крови стоила эта боязнь применить оружие для защиты свободы и мира! Руководители социал-демократии, профсоюзов, Рейхсбаннера собираются на совещание. Всеобщая забастовка? Железный фронт сопротивления? В этот момент можно было сплотить воедино все демократические силы. Отнюдь нет, говорят эти парламентские ночные сторожа, ведь предстоят выборы, и подобные боевые выступления поставят выборы под угрозу. Это волшебное слово. Всякая мысль о сопротивлении оставлена. Вечер 20 июля. Зеверинг сидит за свой письменный стол в прусском министерстве внутренних дел и ждет, когда его выгонят — как его об этом предупредили. Входят три полицейских офицера и от имени имперского правительства вежливо предлагают своему шефу покинуть его место. Зеверинг встает:

«Я уступаю насилию». Затем он покидает кабинет и отправляется в свою квартиру, расположенную рядом.

31 июля состоялись выборы. Почти 14 миллионов избирателей отдадут свои голоса Гитлеру. Национал-социалисты стали самой сильной партией. До сих пор они имели 107 мандатов, теперь у них — 230. Таков был результат выборов, которые Зеверинг, Вельс и Лейпарт — руководители социал-демократической партии и профсоюзов — не хотели «поставить под угрозу». С другой стороны, коммунисты получили почти пять с половиной миллионов голосов. Эти выборы еще раз убедительно показали: фашизм надвигается, как лавина. Коммунисты одни не в состоянии сдержать эту лавину, но вместе с партиями и организациями «железного фронта» они еще могут отвести беду от Германии, отвести грозящую ей катастрофу. Нужно было ясно понять: все направлено к тому, чтобы дать решающий бой; и это будет бой не между большевизмом и национал-социализмом, как с пеной у рта утверждал Гитлер и как впоследствии он будет постоянно утверждать, выступая против свободы народов, против прав человека. Эта битва шла уже тогда: битва между неистовым германским империализмом и прогрессивными силами человечества. Выборы показали, что главный враг, которого нужно разбить, — Гитлер. Против него нужно сплотить все силы, предпринять все возможные контрмеры. Это ощущали тогда очень многие — коммунисты, социал-демократы, демократы, католики, но это чувство, владевшее массами, слишком медленно, слишком робко и нерешительно перешло в действия. Враг был более подвижным, действовал более целеустремленно, несмотря на внутренние неполадки, имевшиеся также и в лагере империалистических заговорщиков.

Эти внутренние неполадки не были незначительными. Гитлер, кичась своей победой на выборах, требовал, чтобы ему, как вождю самой сильной партии, передали политическое руководство, ему — представителю самого оголтелого, обуреваемого манией величия империализма. Однако это вовсе не входило в намерения Шлейхера, Папена и Гинденбурга. Шлейхер и Папен предложили Гитлеру пост вице-канцлера, но Гитлер требовал большего. Он отправился к Гинденбургу, но там его осадили; это было унижительно. Шлейхер и Папен дали ему понять:

«В своей волчьей стае ты вожак, но для нас ты только цепной пес». Гитлер неистовствовал. Он развернул шумную кампанию против «важных господ», против «реакции», против «клуба господ». Он обещал штурмовикам «ночь длинных ножей». Когда пятеро штурмовиков были приговорены к смертной казни за то, что они самым зверским образом зарезали в Потемпе польского батрака, он направил им телеграмму, в которой благодарил этих трусливых убийц за их «патриотический» каннибализм, называя их «мои товарищи». Руководители штурмовиков поговаривали о «походе на Берлин». Путем такого нажима Гитлер рассчитывал доказать «важным господам» свою незаменимость; на самом деле он даже и не помышлял о том, чтобы вступить в серьезную борьбу против государственной власти, он хотел только добиться, чтобы его признали привилегированным цепным псом слоя господ. Чтобы его укротить, Папен и Шлейхер посадили его на голодный паек. Папен, свой человек в кругах немецкой тяжелой промышленности, добился у своих друзей и покровителей прекращения субсидий для партии национал-социалистов. Для Гитлера это означало катастрофу. Что ему делать с миллионами избирателей, если у него нет миллионов марок? Кредиторы слали напоминания, наемники волновались, пустые партийные кассы неотвратимо вели к партийному кризису. Из дневника, который Геббельс вел в то время (позднее он был им опубликован), мы видим, сколь велико было отчаяние. Гитлер был жалок; он был и истерически плакал, грозя покончить самоубийством. Без денег и благоволения магнатов тяжелой промышленности НСДАП была подобна акуле, выброшенной на сушу; она судорожно хватается все, что может достать, извивается, судорожно подергиваясь, и, постепенно затихая, цепенеет. «Мы его приструним»,— говорили Папен и Шлейхер.

Империалистические заговорщики были бы совершенно довольны этим правительством, если бы только оно имело под собой несколько более широкую базу. Однако она была узка, как лезвие штыка. Правительство позаботилось о гигантской программе вооружений: увеличение постоянной армии, создание танковых парков, авиационных отрядов, производство орудий, сооружение броненосцев, подводных лодок, строительство тридцати пяти новых военных заводов, организация

«милиции», годной для применения в любых случаях,— все это соответствовало договоренности. Однако для войны требуется не только оружие, но и люди, масса людей. Их нужно было довести до готовности «восторженно умирать», как определял Гитлер задачу пропаганды. На это Папен и Шлейхер не были способны; они поставляли оружие, но не людские массы. Соппротивление «кабинету баронов» становилось все более угрожающим. Только за три недели — с середины сентября до начала октября — имели место более 280 забастовок. А если в конце концов единый фронт все-таки будет создан? Что тогда? Папен — бездарный авантюрист, у него несчастливая рука, массы не идут за ним, от него следует отделаться. Даже Шлейхер говорил о нем в издевательском тоне, называя его кривлякой и хлыщом. 6 ноября 1932 года снова проходят выборы в рейхстаг. Коммунисты получают 6 миллионов голосов, национал-социалисты теряют 2 миллиона; сторонники немецкой национальной народной партии, которые в июле голосовали за Гитлера, возвращаются к своей старой партии; с другой стороны, коммунистам удалось оторвать от Гитлера обманутых им рабочих. Папен свергнут, его сбрасывает Шлейхер. Кризис в национал-социалистской партии обостряется день ото дня, кредиторы настаивают на расплате, последователи начинают отпадать, отряды штурмовиков бродят, нищенствуя, по улицам с кружками для сбора денег; на выборах в ландтаг Тюрингии Гитлер теряет 40% своих приверженцев, на муниципальных выборах в Саксонии и Бремене — до 50%. Не началось ли отрезвление Германии? Это могло бы стать началом отрезвления, если бы демократический лагерь наконец объединился и единым фронтом перешел в контрнаступление. Великая возможность возникает еще раз, но она остается неиспользованной.

Шлейхер тщеславно улыбается — он доволен собой. Он считает, что теперь пришло его время. Он становится канцлером в результате сложных интриг. Он всегда гордился тем, что не имел никакой программы, но теперь она ему нужна. Он срочно заказывает ее молодым писателям, избалованным и сумасбродным сынкам промышленников, издающим романтический реакционный журнал «Ди Тат». Он ведет переговоры: с одной сто-

роны, с руководителями социал-демократических и католических профсоюзов, с другой стороны — с Грегором Штрассером, соперником Гитлера внутри национал-социалистской партии. Он хочет оторвать профсоюзы от партий, усмирить через Штрассера национал-социалистов и сколотить «надпартийный кабинет»: от «благоразумных» национал-социалистов до «благоразумных» профсоюзных деятелей, причем проделать это играючи, экспромтом. Он приводит Штрассера к Гинденбургу, который не имеет никаких возражений против такого вице-канцлера и который высказывает свое мнение о Гитлере в следующих словах: «Даю вам мое честное слово, как прусский генерал, что я никогда не сделаю этого богемского ефрейтора германским рейхсканцлером». Гитлер, которого партийный кризис сделал более уступчивым, заявляет о своем согласии с предлагаемым решением. Он ставит только два условия: никаких новых выборов и оздоровление финансового положения национал-социалистской партии. Шлейхер согласен, и Гитлер направляется в Берлин. Однако в пути Геринг и Геббельс вытаскивают его из спального вагона. Эти-то знают: если Штрассер поднимется вверх, они полетят кубарем на самое дно. Они убеждают «фюрера», что Штрассер его обманул, что он предатель, что Гинденбург совсем уж не так категорически высказался против Гитлера. За этим следует обычный припадок неистовства. Гитлер пересаживается на другой поезд, заставляя Штрассера и Шлейхера дожидаться его в Берлине. Штрассер решает уклониться от борьбы, упаковывает свой чемодан и отправляется в Южный Тироль — на отдых, отходит от политической деятельности. Одни его приверженцы изгоняются из национал-социалистской партии, другие — переходят на сторону Гитлера. Шлейхер управляет один, без плана, бездумно, но весело, легкомысленно и элегантно.

Папен интригует против Шлейхера, настраивая против него Гинденбурга, юнкеров и магнатов тяжелой промышленности. Он вступает в контакт с Герингом. Он жаждет реванша. Гинденбург испытывает к этому «хлыщу» сильнейшее влечение. Шлейхер в своей высокомерии считает себя незаменимым. Но его флирт с руководителями профсоюзов, сделанные вскользь замечания о том, что задачей рейхсвера вовсе не является

защита собственности, раздражают хозяев промышленности. Юнкеры возмущены его планами переселения. Этот Шлейхер — ни рыба, ни мясо, чего он, собственно, хочет?

4 января 1933 года Гитлер выезжает в Кёльн. Его пригласил туда Папен. Здесь, в доме банкира Шредера, старые враги заключают новый союз. Гитлер облегченно вздыхает: деньги из тяжелой промышленности снова текут в его партийные кассы. Акула не лежит больше на суше; вновь купаясь в деньгах, она снова может ловить избирателей. Он концентрирует деятельность всего партийного аппарата, всей своей пропаганды на том, чтобы добиться успеха на выборах в ландтаг земли Липпе-Детмольд. Теперь он докажет руководителям империалистического заговора, что он именно тот человек, в котором они нуждаются: тот, кто поставляет массы. Почти 48% избирателей голосуют за него.

Между тем Шлейхер бросает вызов юнкерам. Стремясь сломить их упрямство, он разрешает выжать из выгребной ямы, именуемой «восточной помощью», хотя бы несколько капель — всего несколько капель, но они издают невыносимый запах. Он считает это очень удачным. Народ в эту зиму голодает, а юнкеры растранижируют и проматывают, бросают на ветер, тратят на потаскушек миллионы и миллионы марок из государственных средств. Среди тех, кого клеймят позором, находится и старый Ольденбург-Янушау, сосед Гинденбурга по имению. Снова скандал стучится в ворота Нейдека, однако на этот раз еще громче, нежели во время правления Брюнинга. Гинденбург ударяет своим костылем по дубовому столу. Заговор юнкеров и магнатов тяжелой промышленности против Шлейхера заключен. Легкомысленный интриган замечает это слишком поздно. Поспешно сколачивают новое правительство. Гитлер — рейхсканцлер, Папен — вице-канцлер, Гугенберг — министр хозяйства, восемь представителей немецкой национальной народной партии, три национал-социалиста. Гитлер должен поклясться, что он не произведет никаких изменений в составе правительства и после новых выборов и не выйдет из безусловного подчинения Гинденбургу и немецкой национальной народной партии. Гитлер обещает все, что от него требуют.

27 января Папен докладывает рейхспрезиденту о согласии Гитлера. 28 января Гинденбург прогоняет

Шлейхера. В своем озлоблении Шлейхер готов пустить в ход рейхсвер, побудить профсоюзы объявить всеобщую забастовку. Он беседует с Лейпертом — председателем объединения свободных профсоюзов, однако эта беседа не приносит никаких результатов. Генерал не знает точно, чего он хочет, а профсоюзный руководитель, для которого всякий генерал является лицом вышестоящим, в свою очередь не может указать тому никакого выхода. Проекты вместо программ, конференции вместо решительных действий, интриги вместо политики.

Шлейхер позволяет себе некоторые намеки, а в этой напряженной ситуации каждое, даже шепотом произнесенное слово вызывает большое возбуждение; на следующий день английские газеты уже сообщают о возможном путче рейхсвера, о походе потсдамского гарнизона на имперскую столицу, о соглашениях между военными кругами и профсоюзами, о всеобщей забастовке. Все это, безусловно, было возможно, однако ничего этого в действительности не произошло; это лишь ускорило рождение нового правительства: кесарево сечение дало миру уродца. У Гинденбурга совещались еще раз, вновь и вновь возвращаясь к магическому сплетению всяческих оговорок, обязательств, «честных слов», которыми немецкая национальная народная партия надеялась связать гитлеровскую партию. И вдруг на этой дьявольской кухне появился некий взволнованный руководитель «клуба господ». Альвенслебен передал только что распространившийся слух о том, что Шлейхер якобы замышляет путч. События надвигаются. Генерал Бломберг — личность абсолютно незаметная, но имеющая, однако, хорошие связи с офицерским корпусом, становится министром рейхсвера, чтобы в случае необходимости двинуть рейхсвер против Шлейхера. Руководителя «Стального шлема» Зельдте прочили на пост министра труда; но из-за отсутствия Зельдте на этот пост решили назначить его заместителя — Дюстерберга. В последний момент, уже перед самой присягой, появился запыхавшийся Зельдте; он был в бешенстве. Дюстерберг должен был уступить место своему шефу. Члены нового правительства стояли шеренгой перед Гинденбургом, и Гитлер должен был еще раз дать честное слово, что он и после выборов не произведет никаких изменений в составе

кабинета. За несколько месяцев до этого Гинденбург дал честное слово, что он никогда не назначит рейхсканцлером этого «богемского ефрейтора», а теперь богемский ефрейтор клялся, что будет хорошим и послушным рейхсканцлером. «Одно честное слово» в обмен на другое — столь часто превозносимая «верность Нибелунгов»! Комбинации, темные гешефты между политическими барышниками, проникновение в имперскую канцелярию через заднюю дверь — все это пропаганда национал-социалистской партии торжественно объявила «национальной революцией», «переломным моментом в жизни нации», «пробуждением Германии».

30 января новое правительство выступило перед лицом общественности. Гитлер и Гинденбург стояли рядом, а внизу маршировали бесконечные колонны штурмовиков, эсэсовцев, «Стального шлема» с факелами и знаменами, с шумом и криками, разрывавшими тишину зимней ночи. «Хайль!» — ревели они, и снова — «хайль!», и в ответ эхо приносило злое «унхайль, унхайль»¹. Некоторые газеты крупной буржуазии писали: «Прыжок в неизвестность». Власть перешла в руки самых крайних, авантюристических кругов германских заговорщиков, поставивших своей целью подготовку и развязывание войны.

Резюмируем вкратце: гитлеровская партия была поставлена у власти немецкой тяжелой промышленностью, юнкерами и прусской военной кликой для того, чтобы руками опытных преступников уничтожить парламентскую республику и рабочее движение. Хотя эта республика была очень слаба, а немецкое рабочее движение имело очень плохое руководство, они все-таки создавали существенное препятствие на пути к войне, на пути, ведущем в ничто, по которому устремлялся господствующий слой Германии. Широкие массы германского народа не хотели идти по этому пути. Для них наступил последний момент, когда они могли объединить все силы для всенародного сопротивления. Они ждали спасительного решения руководителей партии, которые увлекли бы их за собой. Их ожидания оказались напрасными.

Единый антифашистский фронт, массовое движение, имеющее единое руководство и ведущее борьбу с применением всех средств, даже 30 января 1933 года еще

¹ Unheil (нем.) — горе. — *Прим. перев.*

имело шансы на успех. Естественно, что никто не мог предсказать и никто не может также утверждать задним числом, что победа обязательно осталась бы за демократией. Но даже и в том случае, если бы такое выступление народа не привело непосредственно к победе, насколько изменился бы ход позднейших событий в Германии и в Европе! Самым тяжелым и ошеломляющим для немецких антифашистов в 1933 году было то, что республика погибла без боя, что демократия капитулировала. Тем самым империалистическим заговорщикам была в значительной мере облегчена задача распространения идеологии империализма в широких массах населения; теперь они могли обманывать народ, убеждая его, что путь, на самом деле ведущий к национальной катастрофе, является единственно возможным выходом из создавшегося положения.

Возможности для организации антифашистского народного выступления 30 января были не малыми. Правительству «национального объединения» было далеко до полного единства. Блок немецкой национальной народной партии и национал-социалистов, так называемый «Гарцбургский фронт», созданный в октябре 1931 года в маленьком тюрингенском городке Гарцбурге, раздирали внутренние противоречия. Сторонники немецкой национальной народной партии имели твердое намерение держать Гитлера в узде. Нацистские руководители столь же решительно собирались сбросить «наездников» из немецкой национальной народной партии с седла и не делить власть ни с какой партией.

Пока что Гитлер был в плену у коалиции. Он обещал штурмовикам «ночь длинных ножей» и вдобавок еще чудодейственную программу разрешения всех проблем. Теперь он вынужден был их разочаровать. Ландскнехты теряли терпение. Они чувствовали, что их обошли, обманули, угождая «важным господам». Гайки чрезвычайных декретов были завинчены еще туже. Предсказать исход выборов 5 марта было невозможно. Все важнейшие министерства находились в руках немецкой национальной народной партии. Гитлера не сделали даже рейхс-комиссаром Пруссии, ибо этот пост забрал себе Папен. Правда, Геринг стал министром внутренних дел Пруссии с комиссарскими полномочиями и сумел, невзирая ни на какие препятствия, утвердиться на этом поприще очень

прочно. Он обрушился на прусскую полицию и «очистил» ее от республиканцев. Из тридцати двух полковников полицейской службы двадцать два были заменены фюрерами эсэсовцев и штурмовиков. Профессиональный убийца Гейнес стал полицей-президентом Бреславля, фюрер берлинских штурмовиков, промотавшийся аристократ граф Гельдорф — полицей-президентом Потсдама.

Сменили также и назначенного Папеном полицей-президента Берлина; его место занял адмирал Леветцов, человек, преданный Гитлеру, но стоящий близко к немецкой национальной народной партии. В своем министерстве Геринг окружил себя сворой отборных эсэсовских бандитов. Повсюду в качестве «вспомогательной полиции» привлекались штурмовики и эсэсовцы.

Несмотря на то, что гитлеровская партия, как нож, глубоко вонзилась в тело государства, нацисты с беспокоемством думали о предстоящих выборах. Победа на выборах в земле Липпе-Детмольд была исключением, это Гитлер понимал очень хорошо; перед этим национал-социалисты повсюду потеряли от 40 до 50% голосов. Конечно, теперь, когда государственный аппарат был у них в руках, таких неудач можно было уже не опасаться. И все же: если на выборах не будет достигнуто внушительной победы, если немецкая национальная народная партия и дальше будет оспаривать влияние национал-социалистов, то с помощью других партий она сможет застопорить дальнейшее продвижение нацистов. Руководители штурмовиков высмеивали подобные рассуждения о действиях «в рамках законности» и были за то, чтобы без лишних слов «нанести удар». Однако Гитлер этого панически боялся. Он трепетал перед рейхсвером и опасался вызвать недовольство финансовых магнатов. И кроме того: экономический кризис идет на убыль, и тот, кто в данный момент управляет, кто в настоящее время проводит в жизнь программу вооружений в интересах империалистических заговорщиков, тот получает возможность разыграть роль «спасителя». Поэтому Гитлер был за максимальное соблюдение «законности», за минимальный риск. Он требовал от немецкой национальной народной партии запрещения КПГ, изоляции социал-демократии, чтобы таким путем добиться получения на выборах большинства голосов. По тем же самым сообра-

жениям против этого выступала и немецкая национальная народная партия.

«Следовательно, их нужно к этому принудить!» — говорили нацистские лидеры. Геббельс внес предложение организовать «покушение коммунистов» на Гитлера, поручив всю режиссуру Гейнесу, полицей-президенту Бреславля. Геринг воспротивился этому: такое покушение могло, по его мнению, вызвать желание подражания. Кроме того, нужно было учитывать также и то, что Гитлер панически боялся покушений. Пожалуй, лучше будет устроить взрыв бомбы в прусском министерстве внутренних дел или поджечь какое-нибудь общественное здание. Геббельс предложил: может быть, рейхстаг? В таком случае можно будет предстать перед парламентариями в роли защитников этого «балагана болтунов». План был принят, Геринг обещал обеспечить мероприятие первоклассными зажигательными средствами из своего Имперского управления воздушного флота. Кроме того, он предложил проникнуть в зал пленарных заседаний рейхстага по подземному ходу, соединяющему его дворец с рейхстагом. Обер-группенфюреру штурмовых отрядов Карлу Эрнсту, совершенно опустившемуся субъекту, гомосексуалисту и адъютанту гомосексуалиста Гейнеса, а позднее гомосексуалиста Гельдорфа, было поручено подобрать для поджога надежных людей. «Сигнал» должны были подать 25 февраля. Однако, узнав, что 25-е приходится на субботу, Геббельс заявил, что этот день не подходит из пропагандистских соображений: в воскресенье выходят только утренние газеты, и поэтому сенсацию нельзя будет использовать в полной мере. Сошлись на том, чтобы поджечь рейхстаг вечером 27 февраля.

Однако для того, чтобы вызвать антикоммунистическую истерию нужного масштаба, один поджог рейхстага мог оказаться недостаточным. Пожар следовало преподнести мещанину, как сигнал к «большевистской революции», как прелюдию к кровавым ужасам, которые наци приписывали коммунистам, дабы затем представить себя в роли «защитников цивилизации». Геринг распорядился, чтобы реорганизованная им прусская полиция нашла в помещении одной из партийных организаций, закрытом и опечатанном несколько недель тому назад, целые кипы «планов восстания», снабженных самыми

фантастическими и кровавыми «инструкциями» коммунистическим функционерам. Пока полицей-президентом был член немецкой национальной народной партии Мельхер (доверенное лицо Папена), полиция, несмотря на самые тщательные обыски, не смогла обнаружить ничего подобного. Это говорит, таким образом, о том, что подобные открытия полностью следует отнести за счет «интуиции» нового национал-социалистского полицей-президента. Геринг намеревался тотчас же опубликовать «документы», в которых говорилось о запланированных поджогах, грабежах, убийствах заложников, массовых отравлениях и тому подобных злодеяниях. Однако министры из немецкой национальной народной партии, которых он ознакомил со своим шедевром, воспротивились этому самым решительным образом. Гугенберг, Папен и Зельдте осыпали его упреками за то, что он прибегает к таким гангстерским трюкам, да еще столь бездарно. Уж если подделывать, заявляли они своему коллеге-аферисту, так нужно это устраивать поискуснее, не столь неуклюже, топорно и глупо. Публикация этих халтурно изготовленных «документов» страшно скомпрометировала бы Германию в глазах всего мира, и от нее, безусловно, нужно отказаться. Наконец, было бы чистейшим идиотизмом верить в то, что такой «материал» действительно мог быть найден в официальном партийном центре коммунистов; уж если его нужно найти, то это во всяком случае следует сделать в каком-нибудь другом месте. Это позволило бы заявить потом, что обнаружена нелегальная штаб-квартира коммунистов. Итак, опубликовать «материал» Герингу не разрешили; однако он распорядился, чтобы официальное бюро информации 26 февраля распространило драматическое описание «катакомб, тайных ходов и подземных укрытий» в помещении, принадлежащем организации коммунистической партии, «тайных убежищ», в которых якобы грудями лежали «сотни центнеров подрывных материалов», хранились жуткие директивы на случай предстоящей гражданской войны. При этом было объявлено, что правительство в самое ближайшее время ознакомит общественность с этими материалами. 1 марта это обещание было повторено в официальном бюллетене «Прейссишер пресседингст»; пока что материал еще только изучается. 2 марта Брюнинг заявил в одной из своих избирательных речей: «Мы

надеемся, что правительство опубликует вскоре обещанные материалы. Трудно себе представить, чтобы какая-нибудь партия обращалась так легкомысленно с материалами, свидетельствующими о ее преступной деятельности. Однако правительство располагает необходимыми доказательствами, и оно обещало познакомить нас с ними». 3 марта Гитлер с раздражением ответил: «Пусть господин Брюнинг не беспокоится. Мы опубликуем материалы». Однако это так никогда и не было сделано.

За несколько дней до поджога рейхстага Гельдорф рассказывал своим сообщникам, что ему удалось «подцепить» одного юного голландского коммуниста, которого можно уговорить принять участие в поджоге рейхстага. 25 февраля Карл Эрнст и двое штурмовиков, которых он связал клятвенным обещанием хранить тайну, разместили в глухом ответвлении подземного хода зажигательный материал, полученный от Геринга: небольшие банки с самовозгорающимся фосфором и несколько литров керосина. Вечером 27 февраля, когда стрелки часов показывали уже начало девятого, штурмовики, облачившись в резиновые калоши, снова спустились в подземный ход. В 20 часов 20 минут они достигли того места, где хранились зажигательные материалы. Здесь им пришлось прождать минут 20, пока мимо не прошел вахтер, совершавший здесь ежедневные обходы. В 20 часов 45 минут они уже были в зале пленарных заседаний. Один из сопровождавших Эрнста штурмовиков вернулся в подземелье за оставшимися там зажигательными материалами. Эрнст и второй штурмовик принялись за работу. Стулья и столы были смазаны фосфором, портьеры и ковры облиты керосином. В 21 час 5 минут все приготовления были закончены, и поджигатели удалились — опять через подземный ход. Незадолго до этого в ресторан рейхстага через окно проник Ван дер Люббе. Штурмовик Зандерс, который не отходил от него ни на шаг в течение всей второй половины дня, посмотрел на часы и, увидев первые языки пламени, доложил по телефону, что все в порядке.

Это описание хода событий взято в основном из письменного доклада, который оставил Карл Эрнст и который был опубликован после его убийства, совершенного 30 июня 1934 года. Частично здесь использован также меморандум председателя клуба немецкой национальной

народной партии доктора Оберфорена, который был найден убитым в своей квартире 3 мая 1933 года. Меморандум, составленный не лично Оберфореном, а по его запискам и устным сообщениям, грешит целым рядом явных неточностей, и поэтому может быть использован лишь в той мере, в какой его утверждения совпадают с другими сообщениями и материалами. Целый ряд подробностей, связанных с предысторией поджога рейхстага и с самим поджогом, остаются не выясненными и по сей день. Однако время от времени отдельные лица, знающие кое-что об этих событиях, выступают с рассказами о них; позже, вероятно, будут сделаны и другие сообщения.

Жена бывшего национал-социалистского председателя сената города Данцига, позднее эмигрировавшего из гитлеровской Германии, госпожа Анна Раушнинг опубликовала в 1942 году в Нью-Йорке свои воспоминания, в которых, в частности, есть кое-что и о поджоге рейхстага. Ее муж, Герман Раушнинг, рассказывал ей, как Геринг хвастался ему, что «его молодцы» подожгли рейхстаг и он сожалеет лишь о том, что они не довели свое дело до конца и не сумели превратить «этот старый хлам» в груду развалин. Отдельные детали, несомненно, станут еще известны, но некоторые подробности убитые, конечно, навсегда унесли с собой в могилу.

В области внутренней политики поджог рейхстага в общем и целом содействовал достижению тех целей, которых добивались фашистские поджигатели. Коммунистическая партия была разгромлена, социал-демократия парализована. Многие избиратели, плохо разбиравшиеся в политике, увидели в Гитлере и Геринге «спасителей от большевизма». Сторонники немецкой национальной народной партии понимали, что после поджога рейхстага Гитлер становится опасным также и для них. Поэтому накануне выборов в рейхстаг они, как и прежде, противились запрещению коммунистической партии. Они настаивали на том, чтобы Геринг не публиковал фальшивые документы. Конфликт между штурмовыми отрядами и «Стальным шлемом» принимал день ото дня все более острый и зловещий характер. Лишь в самый последний момент удалось предотвратить попытку внезапного нападения штурмовиков на правительственный квартал. Однако ко дню выборов оба партнера по коалиции собрали воедино все свои силы. Штурмовики готовились в

ночь с 5 на 6 марта начать свой долгожданный «поход на Берлин». Рейхсвер и «Стальной шлем» готовились к контрудару. На тот случай, если бы Гитлер попытался насильственным путем установить диктатуру НСДАП, немецкая национальная народная партия заготовила обращение, которое предполагалось выпустить за подписью Гинденбурга. В этом обращении Гитлер, Геринг и Геббельс обвинялись в поджоге рейхстага. Вместе с тем обращение раскрывало планы насильственного свержения существующего правительства и призывало национал-социалистов оказать поддержку генерал-фельдмаршалу во имя спасения национального фронта от... марксизма. Это был все тот же старый план установления военной диктатуры во главе с Гинденбургом и рейхсвером. Этому плану не суждено было сбыться, а подготовленное обращение, клочок бумаги с бледными, выцветшими строчками, потонуло в мутном потоке последовавших за тем событий.

Выборы 5 марта не принесли Гитлеру абсолютного большинства; тем не менее за него было подано все же 44 % всех голосов. Социал-демократы и коммунисты собрали вместе более 30 % голосов, остальные 26 % получили различные буржуазные партии. Но Гитлер нисколько не заботился о нормах парламентской демократии. Издевательски ссылаясь на «законность», он уничтожил всякие законы, все правовые нормы и понятия, присущие цивилизации. «Волчье время, время власти топора», — говорится в мрачных стихах «Эдды», этого ледяного вулкана безудержной фантазии, свойственной нордической мифологии. Волчье время, время власти топора наступило в Германии. Немецкая национальная народная партия, легкомысленно надеявшаяся на то, что выпущенный на волю хищник будет пожирать только других, слишком поздно поняла, к чему это может привести на деле. Очень скоро она сама оказалась поглощенной. Лидеры этой партии хотели, чтобы Германия была страной реакции и войны, — это в эпоху великих демократических народных движений, великих преобразований в технике и экономике, которые властно требуют нового, более разумного сотрудничества всех наций. Они хотели идти назад; однако, чем больше такое попятное движение вступает в противоречие с творческими и передовыми силами новой эпохи, тем дальше катится камень,

тем больше достижений общественного развития должно быть при этом уничтожено. Германия не вернулась к условиям кайзеровской империи, как этого хотели деятели немецкой национальной народной партии, а скатилась до варварства, зверства, до отношений, характерных для «времени волков и топора». Чтобы развязать преступную первую мировую войну, оказалось достаточно «нормальной» конституции прусско-немецкого империализма; для того чтобы повторить это преступление в условиях, когда все знали, какой катастрофой для всего человечества является мировая война, нужны были хищные звери из Потемпы, превращение целой нации в волчью стаю.

Пожар в рейхстаге был не только «сигналом» к отмене всех, пусть даже самых малых и скромных гражданских прав, он стал также «сигналом» к планомерному уничтожению всех нравственных принципов, к введению продуманной системы, чудовищно калечившей человеческую личность. Постепенно были разгромлены все партии, уничтожены все независимые организации и объединения. Все выборные представители народа повсюду, вплоть до мельчайших местных самоуправлений, до последнего мелкого предприятия, были заменены назначаемыми нацистской партией администраторами. Был проведен процесс всеобщей «унификации», милитаризации, превращения людей в автоматов, процесс превращения миллионов людей в грабителей и убийц. «Арийские» головорезы прибрали к рукам собственность партий, профсоюзов, кооперации, магазины и квартиры граждан еврейского происхождения. Дым костров, на которых сгорают книги ученых и корифеев мировой литературы, смешивается с запахом крови, который доносится из камер пыток и концентрационных лагерей. Летучие отряды эсэсовцев и штурмовиков увозят, увечат и убивают сотни тысяч беззащитных честных немцев, отданных на произвол палачей.

Вот что происходит в Германии, которую Гитлер готовит к новой мировой войне. В концентрационном лагере Гогенштейн до смерти замучен рабочий Фриц Гумберт из Гейденау. Его жене сообщают, что он умер от кровоизлияния в желудок и кишечник. Товарищи Гумберта по работе собирают деньги и добиваются доставки трупа в Гейденау. Прибывает закрытый гроб, открывать

его строжайше запрещено. Тем не менее его открывают. Рабочие видят: то, что прежде было лицом, теперь представляет собой куски мяса. Языка нет, губы прокушены. На руках видны следы тяжелых цепей. Позвоночник сломан, живот продавлен ударами сапог, кишки вываливаются наружу. 28 апреля 1933 года эти ужасные останки человека, который был немцем, несут к могиле. Тысячи рабочих молча следуют за гробом. У входа на кладбище их разгоняют вооруженные до зубов штурмовики.

Вот что происходит в Германии, где антифашистские партии не смогли объединиться для борьбы не на жизнь, а на смерть против фашизма.

В Эссене палачи издевательски требуют, чтобы арестованные рабочие спели «Интернационал». Рабочие молчат, они не изменяют своему гимну. Палачи накидываются на них с резиновыми дубинками, плетями и стальными прутьями. Рабочие молчат. С их висков струится кровь, она сочится и из их уст, но они молчат. Убийцы устали, им на смену приходят другие, и избиение продолжается. Рабочие еле стоят на ногах, они обливаются кровью, но держатся стойко, плечом к плечу и молчат; также молча падают на пол. Груда мяса и крови; обманутые молчанием палачи отступают. И тогда из этого кровавого клубка избитых, упавших на пол людей, из этой груды истерзанной человеческой плоти, словно из бездонной глубины и невидимой дали, тихо возникает гимн, в котором звучит боль и непоколебимая стойкость: «Вставай, проклятьем заклеенный!..»

Штурмовики остолбенели. Затем они снова набрасываются на эту поющую кровавую грудку человеческого мяса. Совершенно озверев, они с хриплым ревом яростно наносят удары направо и налево. Рабочие больше не поют. Они мертвы. А на улице воют живые, кровожадные волки: «Сегодня нам принадлежит Германия, завтра нашим будет весь мир».

Такова Германия 1933 года: безнадежное, героическое сопротивление побежденных рабочих — и не только рабочих; будь у них правильное руководство, они, сплоченные воедино, создали бы, обороняясь, силу, способную спасти Германию от гибели. Теперь они расколоты, разъединены, разбиты, и все тише звучит их голос, все громче раздается вой империалистических волков, все более гнетущим становится молчание миллионов, которые

не признают фашизма, которые ищут выхода и не находят его. И эта легкая победа гитлеровской своры, это страшное поражение Германской республики, германского рабочего класса, который не имел возможности бросить свои силы в решительный бой, нависает кошмаром над всей Европой. Можно ли вообще преградить дорогу фашизму? Существует ли что-нибудь, что сильнее его? Кто укажет путь борьбы? Кто поведет за собой народы?

В КАНДАЛАХ

В тесной камере Моабитской тюрьмы сидит законный в кандалы заключенный, большая неизвестная величина в политических расчетах поджигателей рейхстага: Георгий Димитров.

3 апреля судебный следователь Фогт официально уведомил его, что он обвиняется в поджоге рейхстага. 4 апреля ему надели оковы на руки и на ноги и приковали короткой цепью к стене. День и ночь мучения, и так в течение целых трех недель. Без сна, кровообращение затруднено, руки и ноги отказываются служить, но сердце остается сильным и пламенным, и мысли в голове ясны и смелы. Регулярно в камере появляются надзиратели: проверяют, не ослабли ли зажимы оков или, может быть, нервы заключенного. Но нет! Зажимы прочны, и нервы не сдают. Следователь Фогт не только заковал заключенного в цепи, он придумал еще и другие средства, чтобы сломить его волю и нарушить его гордое спокойствие. Он запрещает принимать для узника передачи — продукты, которые дополнили бы скудный тюремный паек; он пресекает какую бы то ни было связь его с внешним миром — ни писем, ни книг, ни газет; и когда заключенному удастся, наконец, получить учебник немецкого языка, ему отказывают в возвращении очков, без которых в пятьдесят лет мучительно трудно читать и писать.

Письмо болгарскому переводчику обвинения, в котором Димитров просит предоставить ему учебник

немецкого языка, является как бы первым признаком надвигающейся грозы. Следователь Фогт уже знает эти грозные вспышки; иногда это — взгляд заключенного, черное пламя гнева и презрения. Он чувствует, что приближается гроза, однако напрасны все его попытки заставить ее разрядиться прежде времени. Димитров укрощает свою вулканическую силу, которая угрожает взорвать все вокруг; в такие мгновения его ненависть, все накопившееся в нем напряжение находят спасительный выход в убийственной, разящей иронии. Немецкий писатель Томас Манн определил однажды иронию как «разрушение основных инстинктов». Ирония Димитрова прямо противоположна этому. Это сдержанная стихийная сила, это победа трезвого рассудка над бушующими инстинктами. Написанное закованными в цепи руками письмо от 15 апреля и направленное через следователя болгарскому переводчику представляет собой пример такой сдержанной иронии:

«Прошу Вас, если возможно и если разрешит г-н следователь, будьте так добры, пришлите мне учебник немецкого языка. Вы сами лучше всего знаете, какой учебник для меня подходит.

Мне хочется как можно лучше использовать время своего пребывания в заключении, в особенности для правильного изучения немецкого языка, который я так высоко ценю и на котором я пишу,— победоносного и прекрасного языка Гёте и Гейне, Гегеля и Маркса».

Следователю Фогту этот заключенный представляется человеком загадочным, от которого можно ждать всяких неожиданностей, с другими справиться будет нетрудно. Ван дер Люббе — это сломанный инструмент, он безумен и безволен. Торглер боится за свою жизнь, с ним не будет никаких затруднений. Из молодых болгар один, не вынеся утонченных пыток, уже покушался на самоубийство, другой находится на грани отчаяния. Но Димитров совсем из другого материала, в нем видна сила, ум, решимость, которые получают поддержку из каких-то скрытых источников, проистекают от неизвестной и чуждой следователю полноты жизни. Уже в тюрьме при полицей-президиуме Димитров отказался подписывать протокол. Он заявил чиновникам, что с величайшим недоверием относится к немецкой полиции

и что в собственноручно написанном объяснении он скажет все, что сочтет необходимым, но ни на йоту больше. И это объяснение, переданное им 20 марта ведомственному следствию полицейскому чиновнику, было во всех отношениях необычным. Заключенный, обвиняемый в совершении поджога, имеет неопровержимое алиби. 26 и 27 февраля он был в Мюнхене и вернулся в Берлин лишь ночью. Это могут подтвердить свидетели, весьма далекие от политики. Всякий другой на его месте выдвинул бы это обстоятельство на передний план. Но Димитров упоминает о нем лишь между прочим. Он не отвечает на выдвинутое против него обвинение: «Я не мог совершить преступления, поскольку меня не было в Берлине», но заявляет следующее: «Как коммунист... я принципиально против индивидуального террора, против всяких бессмысленных поджогов, потому что эти акты несовместимы с коммунистическими принципами и методами массовой работы...» Это не индивидуальное, а политическое алиби; Димитров защищает себя не как частное лицо, а как коммуниста, как представителя определенного политического мировоззрения. И от этой защиты он сейчас же переходит в контратаку, в политическое наступление: «Мы — коммунисты, а не анархисты. По моему глубокому убеждению, поджог рейхстага может быть делом рук лишь обезумевших людей или злейших врагов коммунизма, которые хотели этим актом создать благоприятную атмосферу для разгрома рабочего движения и Коммунистической партии Германии. Я, однако, не сумасшедший и не враг коммунизма». С самого начала здесь уже поставлен вопрос: «Кто же в действительности совершил поджог?» И с самого начала на него в общей форме дан ответ: враги коммунизма и рабочего класса и, возможно, находящиеся у них на службе сумасшедшие. С самого начала Димитров в своей защите переходит в решительную контратаку, которую Клаузевиц называл «сверкающим мечом возмездия». Этот меч грозно нависает над головами поджигателей рейхстага.

Следователя имперского суда Фогта, этого служби-ста, трусливого и вероломного немецкого судейского чиновника, время от времени мучает сомнение. Он чувствует, что взял на себя решение весьма неблагоприятной задачи. Сначала казалось, что Димитров является

невероятно удачной добычей: «балканец» и, кроме того, большевик, для немецкого мещанина, при его национальном высокомерии и политическом невежестве — этот человек может служить воплощением всех дьявольских уловок, применяемых для того, чтобы нарушить все установления закона. Он проживает в Германии под вымышленной фамилией, присужден в Болгарии к смертной казни за участие в вооруженном восстании. Итак, представляется идеальная возможность сочинить политический бульварный роман. Состряпать в связи с поджогом рейхстага версию о «большевистском мировом заговоре».

До ареста болгар обвинение против коммунистов было состряпано столь грубо, что правда слишком явно проглядывала через пелену обволакивающей ее лжи. 2 марта «Дейче альгемейне цейтунг», представляющая влиятельные промышленные круги, издевательски писала: «С точки зрения политической в поджоге рейхстага только одно остается совершенно непонятным: как удалось найти коммуниста, который был настолько глуп, что пошел на это преступление? Если не считать замечаний, оброненных в некоторых речах, газетных статьях и запросах, то мы до сих пор почти не имели данных о существовании единого фронта коммунистов с социал-демократами; в высшей степени невероятно, чтобы такой единый фронт мог быть создан специально с целью поджога германского рейхстага. Мы опасаемся, что тщательная проверка предварительных данных, на которых основывался рейхскомиссар по внутренним делам (Геринг), делая свое известное замечание, покажет несостоятельность этого обвинения. И если это так, то было бы гораздо лучше вообще от него отказаться». Отклики за границей были для нацистов еще менее утешительными, и Гитлер жаловался в своей речи, произнесенной в рейхстаге 21 марта: «Ни немецкий народ, ни весь остальной мир еще не смогли в достаточной степени осознать весь размах акции, предпринятой этой (большевистской) организацией. Только благодаря тому, что правительство нанесло молниеносный удар, оно предотвратило такое развитие событий, катастрофические размеры которых могли потрясти всю Европу». Арест руководителя коммунистической партии одной из балканских стран представлялся поэтому неожиданным даром «про-

видения», с которым Гитлер, как он постоянно утверждал, находился в самых интимных отношениях. Нужно было только немного помочь «провидению». И вот, 21 марта такая дополнительная помощь была оказана нацистским журналистом доктором Дрешером, который явился к следователю Фогту и с таинственным видом сообщил ему, что в 1925 году Димитров взорвал кафедральный собор в Софии. Он добавил также, что сразу узнал Димитрова по фотографии. Конечно, можно было без особого труда установить, что в 1925 году Димитрова уже давно не было в Болгарии, что человека, который организовал взрыв собора, звали Стефан, а не Георгий Димитров и что оба они ничуть друг на друга не похожи. Но во имя чего должна была немецкая юстиция брать на себя этот труд? Фогт облегченно вздохнул и на следующий же день опубликовал в прессе сообщение, что Ван дер Люббе был связан не с социал-демократами (как сказал Геринг), а с иностранными коммунистами, «в том числе и с теми, которые за организацию взрыва собора в Софии в 1925 году были приговорены к смертной казни или несколькими годам тюремного заключения». Теперь наконец-то будет выглядеть достоверным этот «большевистский мировой заговор»!

И все-таки Димитров внушал все большее беспокойство немецкому следователю. Был ли он на самом деле такой уж заманчивой добычей? Не получится ли так, что обвинение закутало в тряпье состряпанной им версии раскаленный металл. Все средства, примененные для того, чтобы остудить этот металл, оказались бесполезными. После трех недель заключенному расковали ноги, сняли цепь, которой он был прикован к стене. Но руки остались закованными, день и ночь, в течение долгих пяти месяцев. Узника продолжали подвергать этим мучениям, хотя следователь все больше убеждался в том, что здесь ему противостоит такая воля, которую не сломят ни оковы, ни пытки. «В общем,— рассказывал Димитров позднее,— от применения методов, которыми надеялись меня деморализовать, пришлось отказаться, так как стало ясно, что они не дают никаких результатов. И все-таки,— добавил он,— время от времени меня подвергали новым издевательствам. Например, однажды я заявил следователю, что я ручаюсь головой, что Попов

и Танев ни в чем не виноваты. Он ответил: «Вашу голову вы все равно потеряете!» В другой раз он крикнул сопровождающим меня полицейским: «Будьте внимательны, это очень опасный человек; он присужден к смертной казни в Болгарии, мы его выдадим и ему отрубят голову». Черное пламя в глазах Димитрова, гордость, презрение и ирония были молчаливым ответом на все эти выходки, и каждый раз немецкий чиновник чувствовал себя побитым псом. Весьма неприятно, когда ты занимаешь высокий служебный пост, но вынужден, подобно псу, трепетать перед проявлениями твердой, человеческой воли и достоинства. Так же неприятно получать от беззащитного заключенного письма, подобные письму от 4 мая:

«За Ваше сообщение о том, что Вы отказываете мне в выдаче конфискованных у меня денег, благодарить, конечно, не приходится.

И все же Вы этим избавили меня от одной иллюзии. Я на одно мгновение предположил, что по крайней мере в этом отношении со мною будут обращаться, как с политическим деятелем, который непричастен к поджогу рейхстага и страдает только из-за выполнения своего коммунистического долга, и во всяком случае не хуже, чем с разбойником или убийцей, и что я могу рассчитывать на несколько марок из своих собственных денег на газеты, почтовые расходы и немецкий учебник.

Теперь я вижу, что это была только иллюзия. Я лишен права пользоваться моими деньгами. Я не имею права на посещения и должен к тому же днем и ночью находиться в кандалах.

Насколько мне известно, даже обвиняемые в убийстве не находятся в таком положении.

И этим я обязан Вам!»

Это было не очень приятно для собачьей души в судейской мантии. Здесь каждое слово насыщено ненавистью и презрением и в то же время не дает ни малейшего повода для придирок к заключенному. По форме письмо было безукоризненным: оно не было результатом произвольной вспышки гнева, бессильной ярости или необузданного раздражения. Это была высшая концентрация сдержанной силы, направляемой и укрощаемой строгим и высоким сознанием. Это не импульсив-

ные действия, связанные с данным моментом; здесь имеются в виду интересы всего дела, в каждом, пусть самом малом вопросе,— интересы того великого дела, которому отдана вся его жизнь, и потому все должно быть на своем месте, в соответствии с фактами, продуманно и целесообразно. Таков весь стиль его действий, речей, документов: сжатый, простой, резкий, чрезвычайно точный и выразительный.

«Это опасный человек»,— говорит следователь о заключенном Димитрове; и он действительно его боится. Этот Димитров — человек совсем из другого мира. Вот он сидит один в своей камере и вместо того, чтобы подумать о том, как спасти свою жизнь, размышляет бог знает о чем, о своих политических воззрениях, о своей исторической задаче. Торглер взял себе в защитники видного национал-социалиста доктора Зака; этот сможет сохранить ему голову. Оба других болгарина также доверились немецкому защитнику. Димитров требует защитника из-за границы. Вместо того чтобы образумиться, он хочет делать политику. Он совершенно не боится смерти. И при этом никак нельзя предполагать, что жизнь ему безразлична. Это страстный, полный сил и энергии человек.

Нет, жизнь для него не безразлична. Димитров любит жизнь со всей страстью своей богатой и щедрой натуры. Но жизнь для него — не узкий мирок, не самосохранение любой ценой, не жалкое «я», которое страшится смерти, но широкое течение, половодье, борьба, действие, идея, политика, преданность великому движению нашего века. «Отсутствие страха перед смертью,— так будет он позднее внушать своим друзьям,— это не личный героизм, это основное свойство коммуниста, революционера, большевика». Любить жизнь и не бояться смерти — было лейтмотивом этого великого борца за свободу, и он звучал уже в его ранние юношеские годы.

Из темницы он пишет своей матери, этой мужественной старой женщине, которая впервые в жизни покинула Болгарию, свою родину, чтобы помочь сыну: «Я всегда гордился нашей матерью, ее благородным характером, стойкостью и самоотверженной любовью, и сейчас еще больше горжусь ею. Желаю ей на долгие годы отличного здоровья и жизнерадостности, мужества

и веры в будущее». Стойкость и самоотверженная любовь, мужество и вера в будущее — таковы жизненные начала семьи Димитровых, глубоко ушедшие корнями в обильно политую кровью, свободолюбивую землю Македонии. Страстная борьба против всяческого угнетения — вот идея, которую он впитывает в себя со своим первым вздохом. Отец Георгия, македонский рабочий, гордый патриот, вынужден спасаться бегством от турок; в Болгарии ему пришлось вести тяжелую борьбу за существование. Одно из ранних детских впечатлений: полиция (уже не в первый раз!) врывается в дом эмигранта, обыскивает бедную квартиру спасшегося бегством борца за свободу. И другое: в школе Георгий постоянно сидит за последней партой. Это богато одаренный мальчик, в интеллектуальном отношении он выше своих школьных товарищей, но он сын рабочего, выходец из чуждого народа, чужеземец, македонец. Национальная и социальная дискриминация — с ней Димитров знаком по собственному мучительному опыту. Отец умирает, мать должна кормить шестерых сыновей и двух дочерей. Георгий — старший из них; она хотела бы, чтобы он продолжал учиться. Мальчик посещает среднюю школу, но жизнь говорит: нет! Работай! Иначе твоя мать не выдержит. Тринадцати лет Георгий становится типографским учеником. Двенадцать часов работает он у наборных касс, а ночью читает, учится с яростным упорством. Рабочие бастуют, и тринадцатилетний подросток принимает в забастовке самое горячее участие. Он понимает, что нужно рабочим: солидарность, организация, классовое сознание. В шестнадцать лет он пишет свою первую статью: «Профсоюзная организация — боевое оружие рабочего класса». Семнадцати лет, в 1899 году, он становится одним из основателей союза типографских рабочих в Софии. Со всем присущим ему пылом воспринимает, усваивает и применяет он учение Маркса и Энгельса, теорию революционного научного социализма. Теория для него — руководство к действию, практика — теория в действии. Единство теории и практики, учения и жизни является основной чертой его прямого, не знающего компромиссов характера. Под руководством юного печатника в профсоюзе складывается революционное крыло, которое в 1903 году образует революционное Объединение профсоюза печатников.

В 1902 году Димитров становится членом болгарской рабочей социал-демократической партии; с первого дня он принадлежит к ее левому крылу, к «теснякам», «тесным» социалистам. Большое сердце этого борца за свободу «тесно» только в том отношении, что не принимает теории трусливого приспособленчества, предательства интересов рабочего класса и свободолюбивых народов, ему чужд всякий догматизм и оно открыто всем новым творческим идеям, возникающим из борьбы и опыта. В 1909 году Димитров становится секретарем Союза революционных профессиональных объединений Болгарии. Он разворачивает кипучую и многостороннюю деятельность — как организатор масс, редактор, писатель, городской советник в Софии и с 1913 года — депутат болгарского парламента. Под его руководством проводятся крупные забастовки рабочих в угольных районах Перника и в медных рудниках Елисейны.

В первую мировую войну ярко проявляются качества Димитрова как популярного народного трибуна. Болгария, которой правит немецкий княжеский дом и алчная клика авантюристов, вовлечена своими правителями в войну на стороне германского империализма. Димитров поднимает свой мощный голос протеста против этого подлого предательства интересов народа. Его фракция голосует в парламенте против вступления Болгарии в войну. Он призывает рабочих и крестьян развернуть внепарламентскую борьбу против военных преступников. Начинают действовать законы военного времени; военные преступники бросают народного трибуна в тюрьму. В тюрьме Димитров изучает немецкий язык, читает, занимается научной работой, поддерживает связи со своими боевыми товарищами. Через два года болгарские рабочие решительными боевыми действиями добиваются освобождения своего вождя Димитрова.

В послевоенное время в Болгарии королевская клика, военщина, реакционные помещики и националисты — все военные преступники дрожат, наблюдая орлиный размах великого демократического народного движения. Прогрессивный «Земледельческий союз» и коммунистическая партия становятся сильнейшими партиями в стране. К власти приходит крестьянское правительство во главе со Стамболийским. Король в союзе с бандой офицеров и македонских террористов органи-

зует антинародный заговор; занявшие предательскую позицию вожди социал-демократии способствуют ему, зарубежная реакция оказывает ему денежную поддержку. И вот те самые силы, которые постоянно предавали Болгарию германскому империализму, свергают 9 июня 1923 года правительство. Стамболийский и его приверженцы убиты; истреблены тысячи крестьян, рабочих, интеллигентов, «Земледельческий союз» и коммунистическая партия распущены, народные массы лишены всех прав и свобод. Коммунистическая партия Болгарии не бросила 9 июня всех своих сил в эту борьбу, не встала с оружием в руках на защиту демократического правительства; в этот решающий для всей нации момент она заняла более или менее «нейтральную» позицию. Позже Димитров, умевший беспощадно критиковать собственные промахи, неоднократно указывал, что такая позиция компартии была грубой ошибкой. Уроки тех лет оставили в его памяти неизгладимое впечатление. Этот опыт учил: своевременно объединять все силы для решительной защиты демократических прав и свобод; рабочий класс — это хребет народа, всей нации в боях за свободу; нет ни одного крупного общенационального вопроса, при решении которого коммунисты могли бы оставаться «нейтральными», сектантский изоляционизм приводит к роковым последствиям. 23 сентября 1923 года коммунистическая партия делает попытку исправить свою трагическую ошибку; она организует вооруженное восстание рабочих и крестьян против угнетателей народа, против узурпаторов; она борется за создание правительства рабочих и крестьян. Смелый народный трибун Димитров стоит во главе борющихся. Десять лет спустя в немецкой тюрьме он делает пометку в своей речи перед судом:

«В этом восстании я, *как уполномоченный* моей партии, принимал *активное и руководящее* участие.

После семидневной вооруженной борьбы восстание было подавлено. Вместе с примерно тысячью соратников, борясь за каждый шаг, я отступил *на югославскую территорию...*

С тех пор, уже ровно 10 лет, я живу за границей как политический эмигрант и политический писатель, без прописки, под чужим именем, так как и за границей противники угрожают мне убийством.

Через несколько месяцев после Сентябрьского восстания я был, как об этом тогда сообщалось в печати, *заочно приговорен к смертной казни*. Этот приговор мне никогда не пришлось увидеть собственными глазами.

Я горжусь этим героическим восстанием».

Вена, Москва, опять Вена и наконец Берлин. Димитров учится и учит, борется, много работает, он политический эмигрант, который, однако, никогда не отрывается от своей родной земли, черпая силы из могучего источника жизни своего класса, своей нации, великих движений и идей своего века.

Димитров твердо решил еще раз вызвать противника на большое сражение. Теперь он уже не стоял во главе вооруженных соратников, а должен был действовать в одиночку, рассчитывая лишь на самого себя. Но он был вооружен всем опытом более чем тридцатилетней борьбы. Позднее Димитров как-то сказал в кругу своих соратников: «Революционеру, занимающемуся политической деятельностью, необходимы три вещи: сердце, чтобы чувствовать, голова, чтобы думать, и нос, чтобы учуять, что произошло». Эти три рода оружия у него не смогли отнять даже самые коварные и бдительные тюремные надзиратели. Будучи изолирован от внешнего мира, не получая газет, не имея даже конкретно сформулированного следователем текста обвинения, что мог он тогда знать о тайне поджога рейхстага? И, однако, в беседе с французским адвокатом Марселем Вилларом Димитров следующим образом ответил на поставленный вопрос:

«С самого начала для меня были совершенно ясными три положения:

1. Дело идет о провокации, организованной правительством.

2. Поджог рейхстага мог быть только делом рук нацистов.

3. Никогда в ходе этого процесса не будут интересоваться подлинными поджигателями: виновными должны быть во что бы то ни стало противники правительства, следовательно — коммунисты».

Основываясь на этой общей оценке обстановки, Димитров сразу же решил перейти в политическое наступление. Нападать, выманить противника из его укрытия,

раздразнить его, для того чтобы постепенно перенести борьбу в область политических вопросов,— такова была тактика, которую подсказывало ему его смелое сердце и которую тщательно разработал его политический разум; в дальнейшем ему должно было помочь его превосходное обостренное чутье. На данном этапе нужно было основательно подготовить все вспомогательные средства: вести систематическую борьбу, чтобы избавить свой организм от мучений, причиняемых оковами, не дать подорвать свою нервную систему. Об этих оковах, которые были на нем до 31 августа, он рассказывал следующее: «Они состояли из широких железных наручников, плотно охватывавших запястья рук. Между собой они были соединены двойной цепью. В зависимости от настроения тюремщика, который запирает на замок кандалы, они более или менее сильно врезаются мне в руки. Очень часто, особенно по ночам, кандалы жали так сильно, что руки немели. Вы не можете себе представить, что это значит для здоровья в целом и для нервной системы в особенности. Эти кандалы, которые постоянно, днем и ночью, причиняют рукам боль, ужаснее всех пыток средневековья и инквизиции». Димитров ведет неутомимую борьбу против этой пытки, пока, наконец, ему не удастся отослать французскому писателю Ромену Роллану письмо. В этом письме, каждое слово, каждая запятая которого, прежде чем они легли на бумагу, были тщательно продуманы, немецкие судейские чиновники не смогли разобраться, однако оно произвело такое впечатление, что цепи с заключенного пришлось все же снять.

Далее: конкретно и основательно изучить немецкое уголовное право и немецкие методы ведения уголовного процесса. В своих беседах с Вилларом Димитров особенно подчеркивал важность этого: «Для того, чтобы хорошо вести политическую защиту, совершенно необходимо хорошо знать закон и хорошо его использовать. Его нужно тщательно проработать, параграф за параграфом, и притом с точки зрения политической, а не личной защиты».

И затем: изучить немецкий язык, который Димитров знает и любит и в тонкости которого он теперь вникает. Димитров никогда не говорил совершенно правильно на условном, бесцветном немецком обиходном языке, но

он лучше, чем большинство немцев, находил и всегда находит самое подходящее выражение, самое меткое слово, сильнейшую, наиболее естественную и доходчивую формулировку.

И наконец: подробно изучить немецкую историю.

10 мая Димитров пишет из тюрьмы своей матери: «Я стараюсь по мере возможности хорошо использовать свое заключение. В настоящее время я занят основательным изучением столь поучительной немецкой истории. К счастью, в тюремной библиотеке имеется несколько книг по этому вопросу. Это изучение много дает мне для правильного понимания и оценки международного значения нынешних событий в Германии».

И 16 августа в письме к Розе Флейшман: «...вот уже несколько месяцев занят главным образом тем, что более подробно изучаю историю Германии. Эти занятия очень интересны и поучительны и при этом ясно показывают связь между прошлым немецкого народа и современными событиями в Германии, касающимися всего мира; они помогают правильному пониманию этих событий и их преходящего характера, позволяя рассматривать их во многих отношениях как рецидив прошлого».

Димитров постоянно подчеркивал мысль о том, что каждый борец за свободу обязан хорошо знать историю своего народа, так как в любой политической ситуации отражается прошлое. Димитров всегда был страстным противником того вульгарного представления, согласно которому рабочий класс любой страны является не чем иным, как абстрактным «пролетариатом», а не частью нации, на которую влияет весь ход национального развития и общая атмосфера в стране. Он был противником этого опошления интернационализма. Димитров хорошо знал и всегда учитывал национальные особенности в развитии рабочего движения в различных странах, прекрасно сознавая, что болгарский рабочий не только просто рабочий, но и болгарин, а немецкий рабочий — немец. Он был пленником в чужой стране, но был готов вести борьбу не на жизнь, а на смерть за интересы коммунистической партии, рабочего класса и всех антифашистов чужой страны, отдавая этой борьбе все свои силы; он готовился бесстрашно и беспощадно

разоблачать преступников — реакционеров этой чужой страны, и поэтому стремился вскрыть исторические корни немецкой реакции.

Из диких зарослей немецкой истории на него пахнуло гнилью, которую источала столетиями накоплявшаяся, никогда не расчищавшаяся зловонная куча — немецкая реакция. То, что он и раньше уже представлял себе все более и более ясно, вновь и вновь подтверждалось опытом изучения немецкой истории: возникновение германского фашизма невозможно было объяснить только экономическим кризисом, крайним обострением всех социальных противоречий и влиянием Версаля. Все это, конечно, имело огромное значение, но только одного этого было недостаточно для объяснения неслыханного падения в фашистское варварство и гибели республики, не оказавшей сопротивления. Тут должны были действовать еще и другие причины, должна была, как заметил Димитров в своем письме от 16 августа, иметь место связь между прошлым немецкого народа и современными событиями в Германии, которые накладывали свой отпечаток на всю международную ситуацию, и эти события следовало рассматривать во многих отношениях как «рецидив прошлого».

Что же это было за прошлое?

Изучение истории дало ответ на этот вопрос Димитрова: германская нация складывалась иначе, чем, например, английская, французская или русская. Со времени Реформации и прежде всего со времени Тридцатилетней войны Германия распалась на множество жалких княжеств, в которых мелким тиранам и бюрократам противостояли только трусливые и робкие мешане. Для Германии этого периода было характерно фактическое отсутствие центральной власти и всякой большой политики, отсутствие прогрессивного народного движения. Не было ничего, кроме «немецкого убожества», грязи и вони самого затхлого провинциализма. В эпоху Великой французской революции великие идеи зарождаются также и в Германии — гуманизм Лессинга и Гердера, Гёте и Шиллера, философия Канта, Шеллинга, Гегеля; но это была буря, бушевавшая где-то в верхних слоях атмосферы. На землю она не спускалась. За идеями не следовали дела; тупое аполитич-

ное филистерство влияло даже и на великих немцев; они были богами, которые не расстались с мешанскими пережитками. Демократическая революция 1848 года завязла, иссякла в «немецком убожестве»; Германия была объединена не сразу, не путем развития революционно-демократического народного движения, а сверху, прусской саблей, в результате экономических мер, без революции, в результате войны, в которой новая Германия опозорила себя актами насильственной аннексии.

Роковое влияние на национальную историю Германии оказывало реакционное пруссачество. Жестокость и надменность прусских юнкеров, прусский милитаризм и бюрократизм, прусская идеология господства и прусский дух рабства наложили на германскую нацию страшное клеймо. История Пруссии с времен рыцарей тевтонского ордена, «псов-рыцарей», мучителей крестьян и душителей славян, представляет собой единственную в своем роде хронику захватов земель и похищения людей, хронику грязных интриг и вероломных нападений, развития маниакальной мысли о величии «богом избранного» народа, мысли о рабском подчинении верноподданных Пруссии, которая, подобно раковой опухоли, все глубже укоренялась в теле Германии. Она навязала свои милитаристско-бюрократические полицейские традиции покоренным ею силезским и западно-германским областям; так в 1871 году возникла Германская империя прусской нации, как Фридрих Энгельс назвал Германию Бисмарка и Гогенцоллернов.

И, наконец: во все решающие моменты национального развития в Германии ее судьбу определяли не прогрессивные, а реакционные силы. В Германии возникали демократические народные революционные движения, но они всегда оказывались разгромленными, и не они, а реакционные силы формировали Германию и определяли ее путь. Решающее значение при этом имел союз, блок юнкерства и тяжелой промышленности, блок, который, несмотря на внутренние трения и противоречия, всегда сплоченными силами выступал против прогрессивных, демократических движений. Этот блок, это тесное переплетение интересов юнкерства и тяжелой промышленности наложили свой осо-

бый отпечаток также и на германский империализм, придав ему особую агрессивность. В результате внедрения пруссачества империалистическая идеология проникла в немецкие народные массы. В беседе с группой своих соратников Димитров однажды подчеркнул еще один важный момент. Говоря о свойственном немцам национальном чванстве, он заметил: «Я думал об этом также и в Моабитской тюрьме. Я полагаю, что это связано, в частности, а может быть даже и главным образом, с быстрым развитием техники и промышленности в Германии после провозглашения империи. В короткое время немцы догнали западные страны, ибо некоторый застой в процессе исторического развития Германии, имевший место в прошлом, способствовал в итоге развитию техники и промышленности на более современной основе; это вскружило голову не только немецким предпринимателям и немецким инженерам, но и многим немецким рабочим. Сложилось представление: мы — лучшие организаторы, лучшие техники, лучшие рабочие, никто не сравнится с нами. Естественно, что это зазнайство помогло империалистам и фашистским бандитам. Немцы полагали, что, поскольку они обладают такими способностями и трудолюбием, они могут претендовать на мировое господство». Все эти обстоятельства сделали широкие массы германского народа восприимчивыми к ядовитой пропаганде империализма, ослабили способность народа оказывать сопротивление усиливающейся реакции в идеологической и политической областях и проложили фашизму путь к власти.

«Во многих отношениях — рецидив прошлого». Димитров видел всю опасность этого рецидива, не только для немецких рабочих, для германского народа, но и для всех народов, учитывал международное значение этих событий. Свирепый, агрессивный германский империализм, потерпевший в 1918 году поражение, но не уничтоженный, однако, ни внешними силами, ни самими немцами, снова выходит из своей берлоги, зияющая рана Европы вновь открылась; решается вопрос о жизни и смерти. В тайне пожара рейхстага заключена тайна войны.

Димитров, закованный в цепи, углубляется в изучение не только немецкой истории, но и в изучение ве-

ликих произведений немецкой и мировой литературы. В «Гамлете» Шекспира и «Фаусте» Гёте его могучий дух находит свободную атмосферу мышления, бури великих страстей, столь родственные его духу.

Гамлет и Фауст — символические фигуры определенной исторической эпохи, когда мир оказывается потрясенным в своих основах, когда старое в крови и мгле идет к гибели, а новое, рождаясь в жестоких муках, вещает о своем приходе; в них находит Димитров некоторые родственные черты. Вновь мир сотрясается в самих своих основах, снова старое, погружаясь в грязь и преступления, идет к гибели, а новое берет верх над старым, гибнущим. Вновь приобретают значимость слова Гамлета: «Быть или не быть, вот в чем вопрос?» Но Димитров — это не Гамлет, он олицетворяет собой не только мышление в его наивысшем развитии, но и бурную активность героического Фортинбраса. Он мыслит для того, чтобы бороться, он не топит действия в потоке мыслей; наоборот, его мышление придает его действиям неумолимую разящую силу. «Быть или не быть?...» — для него это не вопрос личной гибели или проблемы смерти и бессмертия; он доводит до сознания всех свободолюбивых людей и народов этот вопрос, поставленный перед ними историей, и он же отвечает на него своими действиями, которые могут послужить примером для других. И весь Димитров перед нами, когда он заносит в свой тюремный дневник три строки из трагедии «Гамлет»:

**«Всего превыше: верен будь себе.
Тогда, как утро следует за ночью,
последует за этим верность всем».**

В какой мере Димитров концентрировал все мысли на вопросах своей борьбы, на своей политической исторической задаче, насколько он отличался от Гамлета, который спасался бегством от лежащего на нем неимоверно тяжелого долга, погружаясь в бездны мысли, каким он весь был убежденным борцом, показывает также его убедительный и глубокий подход к оценке и пониманию трагедии Фауста. Изучение «Фауста» было для него весьма важным дополнением к изучению немецкой истории. Это великое произведение Гёте, вершина которого возвышается над всем человечеством,

уходит своими корнями глубоко в немецкую проблематику и немецкие противоречия. Немецкий мечтатель заключает договор с дьяволом, подписывая его собственной кровью, чтобы тот помог ему сменить область духа на сферу деятельной жизни; он не видит для себя другой возможности выбраться из заколдованного круга чистого мышления, теории, абстракции. Здесь в основном находит свое глубокое поэтическое выражение миф об аполитичном народе, выросшем в условиях провинциальной серости; англичанину или французу и в голову не пришла бы мысль искать удовлетворения своих реальных желаний только путем заключения пакта с дьяволом. Однако Фауст гётевской трагедии — это не только немец, но прежде всего представитель поднимающейся немецкой буржуазии, охваченной творческим оптимизмом революционно-демократической эпохи; поэтому-то дьявол, который взялся руководить Фаустом, оказывается в конце концов обманутым. Как, однако, должно это выглядеть, если в среде немецкой буржуазии все больше берут верх тенденции распада и разложения, когда в Германии господствует уже не гуманистическая философия Гёте, а декадентски-реакционная философия Ницше и его последователей, отдающая гнилью философия империализма, «мораль господ»? Для нечистоплотного Мефистофеля это прекрасное время, его всемирно-историческая Вальпургиева ночь. Он не будет больше тощим, как лучина, но разбухнет до размеров «нордического фантома» и станет воинственно притопывать своим лошадиным копытом. А как будет тогда выглядеть Фауст? Не превратится ли он в жалкое орудие в руках своего адского поводыря, который толкнет на преступления и приведет к гибели; не станет ли он, одурманенный чадом и напуганный призраками современной дьявольской кухни, слепо выполнять план Мефистофеля? Таким увидел Димитров выродившегося Фауста в Вальпургиеву ночь германского империализма — карикатуру на Фауста в Германии, превратившейся в карикатуру на самое себя. С убийственной иронией Димитров, стоя у барьера в зале имперского суда, укажет на отупевшего Ван дер Люббе и воскликнет, обращаясь к гитлеровским судьям: «Перед нами жалкий Фауст поджога рейхстага. Но где же Мефистофель?»

Из своей камеры в берлинской тюрьме Моабит Димитров пишет: «Часто я чувствую себя, как связанная птица, у которой есть крылья, но она не может ими воспользоваться». Однако мысленно он уже тогда широко взмахнул огромными крыльями. Скоро в самых отдаленных уголках земного шара услышат могучий шум этих крыльев узника, воплощающего собой победу свободы.

ДИМИТРОВ ДОВОДИТ ХИЩНИКА ДО БЕШЕНСТВА

29 сентября в Лейпциге, городе, где стоит монумент в память «Битвы народов» и где находится имперский суд, собрались 15 тысяч немецких юристов. За восемь дней до этого смотра германской юстиции, 21 сентября, в четвертом уголовном сенате имперского суда начался большой процесс о пожаре в рейхстаге. 15 тысяч специалистов по вопросам права, прибывшие из всех областей Германии, должны были исполнить роль хора в этом спектакле.

Новый режим стремится представить германскому народу и в первую очередь иностранным обозревателям третью империю как правовое государство. Государство, которое может выставить для одного только съезда 15 тысяч ученых юристов, конечно, не может быть не чем иным, как правовым государством,— такова мысль организаторов: уже само количество свидетельствует об этом. Произносятся громкие слова о «германском понятии права», о «самобытном, кровном германском праве», о том, что культивирование права — это только особая область «культивирования расы». Новый немецкий министр юстиции Франк заявляет в своей речи: «Демократия идентична с широчайшей несправедливостью и отсутствием морали». Он громогласно восклицает: «В течение этих последних месяцев мы, добиваясь поставленной цели, твердо и жестоко, не допуская снисходительности, смогли создать такую организацию сословия юристов, ко-

торая соответствует новому типу германского гуманизма... Мы — нация господ!»

И наконец: что это было бы за немецкое сословие, если бы оно не маршировало! Итак, 15 тысяч немецких блюстителей права маршируют в строю, снаряженные походному, в начищенных сапогах и с тяжелыми ранцами за спиной, через площадь перед зданием имперского суда. Размеренным шагом, ряд за рядом: тучные советники юстиции с блестящими от пота лицами, рядом с ними молодые судьи и адвокаты в форме эсэсовцев и штурмовиков, все высоко вскидывают ноги, рука выброшена вперед — запах пота и кожи, запах войны. Перед каждым батальоном марширующих юристов-арийцев — военный оркестр, и все эти представители новогерманского гуманизма — вымуштрованные тучные советники и молодые блюстители чистоты расы, — марширующие колоннами с эмблемами мертвой головы, поют: «Народ, к оружию!». Целая дивизия представителей немецкой юстиции заявила о своей преданности новой «самобытной» справедливости марширующей «нации господ». Председатель четвертого уголовного сената доктор Бюнгер и его коллеги Гендерс, доктор Фрелих, доктор Лерш и доктор Руш понимают приказ: «Юстиция, к оружию!».

Председатель четвертого сената доктор Вильгельм Бюнгер, бывший член немецкой народной партии, в течение многих лет саксонский министр юстиции и временно занимавший также пост премьер-министра Саксонии, немецкий реакционер старой закалки, обеспокоен. Этот человек с круглым лицом истинного блюстителя порядка, выражающим чиновничье самодовольство, с щеками, раздутыми от жира, всей своей карьерой доказал, что он всегда за то, чтобы «решительно громить левых»; однако все же нужно соблюдать форму, декорум судейской объективности и независимости. Инициативу молодых людей, которые снова делают немцев «марширующим народом», можно, конечно, только приветствовать, но регулирование некоторых дел они должны все же предоставить более опытным пожилым людям. Так, например, ему передали обвинительное заключение, ну просто ужас: в нем 235 страниц, и это пока единственное, что придает ему весомость! Это халтура, обвинительное заключение готовили никуда не годные работники, а от него теперь требуют, чтобы он любым способом привел все в поря-

док. Заключение до сих пор держалось в строгом секрете, но ведь есть еще один человек, незаурядный и весьма опасный человек, который оценивает эти 235 страниц точно так же, как и опытный председатель сената. Уже 13 августа Димитров писал из тюрьмы:

«Жаль, что обвинительный акт еще не может быть опубликован. Его опубликование было бы для меня наилучшей защитой. Во всяком случае, я убежден, что мое положение, как обвиняемого по этому делу, несравненно легче, чем положение прокурора, который должен представлять обвинение на суде и перед общественным мнением и отвечает за него. Я ему отнюдь не завидую».

Этот бесстрашный обвиняемый совершенно прав: председатель сената понимает, что ни ему самому, ни его коллеге — имперскому прокурору никто не позавидует. Почему процесс был подготовлен так плохо, так бездарно? Даже Геринг был против процесса. Сразу же после пожара он заявил, что в поджоге должны были принимать участие от семи до десяти человек и что они, по-видимому, скрылись через подземный ход. Это было очень неосторожно. Уже 3 марта Геринг заявил во Дворце спорта: «Если бы это зависело только от меня, мы бы еще в ночь, когда произошел пожар, поставили виселицы прямо против рейхстага и повесили бы этих коммунистических бестий». Отклики за границей были неблагоприятными, все настойчивее раздавались голоса, требовавшие установления в судебном порядке виновности поджигателей. Для тех реакционных заграничных кругов, на поддержку которых Гитлер рассчитывал, ему нужны были убедительные данные о «большевистском мировом заговоре». Министр иностранных дел Германии фон Нейрат сообщал, что без процесса ничего не получится. Геббельс, который был убежден, что с помощью пропаганды можно творить чудеса, также считал этот процесс с пропагандистской точки зрения очень важным.

Нервозный и словоохотливый Гитлер дал представителю «Нью-Йоркер штаатсцейтунг» интервью, которое было опубликовано 9 августа; это шарлатанское заявление было в то же время весьма показательно. С неуклюжей откровенностью Гитлер выболтал действительные цели этого процесса.

«Когда мы в ту ночь пожара в рейхстаге и в Берлинском замке получали со всей Германии по телефону,

телеграфу и по радио призывы о помощи ввиду назревающего большевистского заговора и переворота, я решил тотчас же, невзирая ни на что, использовать всю имеющуюся у меня власть, ввести в действие все ударные силы. Самые решительные действия — таков был мой пароль. Разоблачения, которые были сделаны в последующие два часа, доказали мою правоту. Только в одном Берлине, после того как немедленно были заняты общественные здания, включая университет, библиотеки, а также многочисленные помещения берлинских районных муниципалитетов, мы обнаружили очаги пожаров, зажигательные шнуры с кипами пропитанной бензином, легко воспламеняющейся шерсти и взрывчатые вещества. И если бы я в тот решительный час не выступил за сохранение мира и порядка, против большевистских поджигателей, то не только рейхстаг и замок, но и все общественные здания Германии и, как знать, возможно, вся Европа превратились бы в груды развалин. Будущие судебные процессы откроют всему миру глаза на сенсационные события той ночи, о чем говорят найденные материалы, которые до сих пор, пока ведется следствие, еще не могли стать всеобщим достоянием. Имеющиеся доказательства гарантируют раскрытие большевистского мирового заговора».

В высшей степени поучительно перечитывать сегодня эти истерические тирады Гитлера. Глупец, в своей политической близорукости он думает только о том, что выгодно для данного момента и полагает: чем сенсационнее выдумка, тем больше надежды на успех. Призывы о помощи по телефону, очаги пожаров во всех общественных зданиях, Европа, превращенная в груды развалин, сенсационные события этой ночи, большевистский мировой заговор... Он будет повторять это и позже, каждый раз, как будет совершать новый акт насилия — при нападении на Испанию, на Австрию, на Чехословакию и, наконец, в подлинном припадке пароксизма, когда его танковые орды вторгнутся в Советский Союз. И каждый раз этот «рейхсканцлер из пивной» рассчитывает на забывчивость народов и государственных деятелей. Дав это свое интервью, он заварил мерзкую похлебку, расхлебывать которую предстояло имперскому суду. Юристы пытались постепенно отодвинуть на задний план заявления, сделанные Герингом тотчас же после пожара, направив

все обвинение против Ван дер Люббе, который по крайней мере признал свою вину и был, без сомнения, поджигателем. Каждый новый шаг мог привести на скользкий путь, и таких шагов следовало по возможности избегать. Поэтому-то полицейский комиссар Гейзик дал 14 мая голландским журналистам интервью, в котором, в частности, заявил: «Что же касается важного вопроса о том, имел ли Люббе помощников или даже соучастников, то вполне возможно, что поджигателем был он один». Именно поэтому и следователь Фогт предусмотрительно не занес в протокол замечание Ван дер Люббе: «Да, теперь пусть другие скажут, что они сделали!». Председатель четвертого сената Бюнгер, изучив обвинительное заключение, также решил заниматься только Ван дер Люббе и не позволить заманить себя в заросли, таящие опасность неожиданного столкновения с одним из подлинных поджигателей.

Однако, с другой стороны, Гитлеру нужен был «большевистский мировой заговор». И вот, когда заявления Геринга были уже наполовину забыты, Гитлер снова в яростном возбуждении оповестил весь мир об этой главной цели организаторов поджога рейхстага. Таким образом, суд был поставлен перед следующей дилеммой: в обвинительном заключении было ясно сказано, что обвиняемых вместе с Ван дер Люббе следует рассматривать как соучастников, «причем несущественно, в какой форме каждый из них в отдельности участвовал в самом преступлении». Итак, как раз то, что следовало доказать, рассматривалось как недоказуемое. Гитлер же, напротив, требовал, чтобы суд совершенно недвусмысленно подтвердил существование «большевистского мирового заговора». Нацистский адвокат доктор Зак, защитник Торглера, написал в своей книге, посвященной процессу по делу о пожаре в рейхстаге:

«Опасность заключалась в том, что судебное решение должны были принять судьи, которые отрицательно относились к старой системе, но еще не полностью принимали новую, национал-социалистскую концепцию права. Сущность этой концепции права состоит в том, что записанное право является действительным лишь постольку, поскольку оно согласуется с духом новых национал-социалистских идей».

Сказано уклончиво, но смысл ясен. Председатель четвертого сената Бюнгер был одним из тех судебных чиновников, которые относились отрицательно к старой системе, к республике, к демократии, однако он еще не усвоил полностью новую концепцию права, основанную на убийствах, пытках и терроре.

Он, конечно, видел за плохо сколоченным обвинительным заключением тени подлинных поджигателей. Но он не только не осмелился организовать поиски их следов, но и должен был замечать их. Он не мог не понимать, насколько неблагоприятна эта задача. Но разве можно ожидать от таких немецких бюрократов проявления гражданского мужества, смелости перед лицом власти имущих! Их «прусское чувство долга», которым они так гордятся, равносильно собачьей покорности господину, сказавшему «тубо», а «сословная честь» и «неподкупность», которые они охотно выставляют напоказ, прикрывают лишь трусость филистера, страх перед немилостью начальства. В этом процессе они проявили себя полностью, эти немецкие бюрократы; высокопарные речи и позорное поведение, солдатская выправка и полное отсутствие воли; карьеристы и покорные подданные, без помощи которых кровавые преступники никогда не пришли бы к власти, никогда бы не удержали ее в руках. Димитров будет бичевать также и эту банду, заклеит ее своим насмерть разящим обвинением, брошенным в лицо инспектору здания рейхстага Скрановицу: «Когда я впервые увидел Скрановица, я посчитал его за одного из македонских террористов, имеющего на своей совести убийство десяти коммунистов, но очень похожего на свидетеля. Только позднее я узнал, что этот человек — почтенный чиновник». В свете этой убийственной иронии они были выставлены на всеобщее обозрение — эти почтенные чиновники, службисты, бюрократы, опора прусско-немецкого государственного аппарата: тщательно переодетые бандиты-террористы, имеющие право на пенсию. Они пунктуальны во всем: вовремя приходят на службу, вовремя являются домой к ужину и аккуратно выполняют самое бесчестное поручение. Они делают то, что им положено.

21 сентября, около девяти часов утра, к зданию имперского суда направляется автоколонна: впереди машина с отрядом полицейских, за ней тюремный авто-

мобиль с толстыми решетками, на котором едут вооруженные до зубов полицейские, затем снова отряд полиции. На всех углах и перекрестках — полиция и штурмовики, Лейпциг ошетинился оружием. Большой зал заседаний имперского суда заполнили немецкие и иностранные журналисты, руководители эсэсовских и штурмовых отрядов, «сливки общества» гитлеровской Германии. В первом ряду сидит старая женщина, закутанная в черный платок. У нее гордое лицо и ясный взгляд: это мать Димитрова. Вводят обвиняемых; сын и мать взглядами приветствуют друг друга. В этих взглядах мужество, любовь, решимость.

Входят судьи и прокуроры. Девять фигур в красных мантиях поднимают руки, присутствующие в зале также протягивают им навстречу руки, вскинутые в гитлеровском приветствии. Подсудимые стоят между ними, и кажется, что руки смыкаются над их головами; угроза смерти, ненависть и опасность нависли над ними. Враг впереди, враг сзади; гитлеровская Германия хочет раздавить свои жертвы.

Затем вступительное слово председателя четвертого сената: «Огромной важности события, составляющие фон этого процесса, привели к тому, что данные следствия страстно и во всех подробностях обсуждаются в прессе всех стран. Многократно делались попытки предугадать результат еще незаконченного процесса...» За пределами Германии началось широкое движение. Представители самых различных партий и мировоззрений объединились для того, чтобы отстоять истину, чтобы спасти невиновных и обвинить подлинных преступников. Были опубликованы потрясающие документы, разоблачающие истинных поджигателей. На одном массовом собрании в Париже французский адвокат Моро-Джиаффри закончил свою страстную речь словами: «Поджигатель — это ты, Геринг!» В Лондоне под председательством королевского прокурора Притта была организована международная следственная комиссия. Был проведен судебный контрпроцесс. Его приговор клеймит германских правителей. Дыхание этого другого мира проникает и в зал имперского суда; это только легкое и мимолетное дуновение, но Димитров ощущает его, этот дружеский привет. Скоро это дуновение превратится в бурю.

Грандиозный процесс начинается.

Допрашивают обвиняемого Ван дер Люббе. Это живой труп в оковах. Он пошатывается, как лунатик. Голова тяжело свисает на грудь, глаза потухли, лицо мертвело. Защитник доктор Зейферт время от времени вытирает ему лицо носовым платком — это, собственно, и все, что он делает, такова его функция в этом процессе. Швейцарский журналист Фердинанд Куглер рассказывает о своем первом впечатлении о Ван дер Люббе:

«В заключении экспертизы, а также в первых свидетельских показаниях утверждается, что Ван дер Люббе является интеллигентным, развитым, живым и находчивым человеком. Ван дер Люббе, который предстал перед нами, был духовной развалиной, совершенно сломленным и тупоумным человеком. Кто видел прежние фотографии Ван дер Люббе, должен помнить, что у него были довольно полные щеки; сейчас это — скелет... Теперь он находится под постоянным наблюдением врача, советника медицины Щюца, который следит, чтобы он не свалился окончательно... Лицо его невероятно бледно, иногда оно кажется даже синеватым, как у покойника. Скулы резко выдаются, темный растрепанный клочок волос свисает на лоб, брови почти срослись, глаза глубоко запали...»

Ван дер Люббе происходит из промежуточных слоев загнивающего общества; из тех же, что и Гитлер и все другие деклассированные элементы, составляющие гнилое ядро национал-социалистской партии, из тех слоев мелкой буржуазии, которые отпадают от нее, скатываясь на дно. Его отец был мелким лавочником в Лейдене, мать выросла в зажиточной крестьянской семье. Отец пропивает свои доходы, и мать должна сама зарабатывать, чтобы прокормить детей. Маринус Ван дер Люббе, его братья и сестры опускаются до положения пролетариев, но остаются по своей натуре мелкими буржуа, эгоистичными одиночками. Они хотят чем-то выделиться, в своем честолюбии и тупом бунтарстве они стремятся отгородиться от рабочих. Маринус, красивый юноша, крепкий и умственно развитый, вынужден с четырнадцати лет зарабатывать деньги. Он мечтает о том, чтобы стать важной фигурой. Несчастный случай разрушает его планы. Ему забрызгало глаза известью, грозит слепота; его трижды оперируют, зрение сохранено, но

остается ослабленным. Тем сильнее растет в нем потребность выделиться, стать вождем. В одном полицейском сообщении из Голландии говорится: «Ван дер Люббе всегда хотел быть вождем. Однако у него отсутствовали все предпосылки к этому. Он преисполнен болезненной потребности играть значительную роль». На время он примыкает к Коммунистическому союзу молодежи, чтобы выдвинуться там благодаря своим агитаторским способностям; он постоянно вступает в противоречие с требованиями дисциплины, с духом коллектива, не признает самокритики. Ему удастся завоевать популярность среди безработных, но его отношения с молодежной организацией все ухудшаются, и в 1931 году он окончательно порывает с союзом. В полицейском сообщении об этом сказано следующее: «После этого его влияние среди безработных упало. Он примкнул к незначительной «Группе интернациональных коммунистов», насчитывающей во всей Голландии двадцать членов». Полицейское сообщение умалчивает о том, что эти так называемые «интернациональные коммунисты» были яростными противниками коммунистической партии и что их деятельность заключалась главным образом в организации провокаций.

Маринус Ван дер Люббе ищет теперь чего-нибудь нового для удовлетворения своего стремления стать значительной персоной. Вместе с одним приятелем он задумывает «поездку рабочих со спортивными и познавательными целями по Европе и Советскому Союзу». Он организует печатание открыток, на которых изображены он сам и его приятель на фоне пятиконечной звезды. На процессе эти открытки фигурировали как «коммунистический агитационный материал».

В апреле 1931 года Ван дер Люббе покидает Лейден и отправляется странствовать. В конце апреля в Мюнстере его арестовывают и присуждают к денежному штрафу за недозволенную торговлю почтовыми открытками; в начале мая он снова уже дома. Однако это короткое путешествие имело решающее значение в его жизни; в Германии, на большой дороге, красивого юношу посадил в свой автомобиль некий незнакомый господин. Этот незнакомый господин был гомосексуалистом, так же как и Маринус; после этой увеселительной поездки они продолжительное время переписывались.

В сентябре 1931 года Ван дер Люббе снова странствовал по Германии, по Чехословакии, Венгрии, Польше, вплоть до границ Советского Союза, и возвратился на родину только в начале 1932 года. По дороге он задержался в Мюнхене у того же неизвестного господина и через него связался с другими гомосексуалистами, с которыми вскоре стал разделять не только постель, но и политические воззрения. В Лейдене он выступил на нескольких собраниях против «системы», против «хищнического» и «алчного капитала», а также «евреев — врагов народа». На одном из собраний бастующих шоферов в Гааге он заявил: «Время стачек прошло. Нужно найти что-нибудь другое. Но это станет возможным только в том случае, если будут разгромлены все организации, в том числе и профсоюзы. Каждый борется за свои собственные интересы, нужно искать новые формы борьбы, старые организации уже изжили себя».

Кто же этот неизвестный господин, мысли которого он излагал? Без сомнения — член гитлеровской партии. Имеется ряд обстоятельств, говорящих о том, что этим «загадочным незнакомцем», вошедшим в жизнь Ван дер Люббе, был один из профессиональных шпионов и авантюристов, свой человек в коричневом доме в Мюнхене: доктор Георг Белль. Этот Белль так же, как и Альфред Розенберг, главный редактор газеты «Фелькишер бео-бахтер», состоял на службе у спекулянта нефтью Детердинга, который, между прочим, субсидировал также и нацистскую партию. Белль был организатором известного антисоветского мероприятия — подделки червонцев; на процессе, в котором он был главным обвиняемым, его защищал все тот же вездесущий доктор Зак. В 1931 году он был внешнеполитическим советником руководителя штурмовиков Рема, а также его особо доверенным лицом по поставке объектов для гомосексуальных утех. В 1933 году штурмовик Бурли предлагал венской газете «Арбейтер цейтунг» якобы составленный Беллем лепорелловский список гомосексуальных любовников Рема, в котором вместе с другими тридцатью значится также имя Ринус. Я не решаюсь определенно утверждать, что этот список был подлинным; но во всяком случае верно то, что незадолго до этого, 3 апреля, Белль был убит мюнхенскими штурмовиками в Куфштейне (Тироль), и одним из его убийц был штурмовик Бурли. Весьма возможно,

что доктор Белль был тем незнакомым господином, который играл в жизни Ван дер Люббе роль судьбы и свел его с Ремом и другими руководителями штурмовиков.

В начале лета 1932 года Люббе еще раз посетил Германию. 1 и 2 июня он ночевал в общине Зерневиц в Саксонии, и его видели с двумя членами партии национал-социалистов — советником общины Зоммером и владельцем садового хозяйства Шуманом. С 21 июня по 2 октября он находился в тюремном заключении в Голландии за то, что разбил стекла в благотворительной кассе, от которой получал пособие по безработице. В январе 1933 года болезнь глаз до того усилилась, что заставила его снова лечь в больницу. Люббе получал много писем из Германии. В середине февраля 1933 года он в последний раз посетил Германию. Перед этим он говорил о большом влиянии своих новых друзей, о том, что его ждут, что время его пришло. 18 февраля Маринус был в Берлине и, как явствует из оставленного Карлом Эрнстом документа, посетил графа Гельдорфа. Подробности неизвестны; полиция и юстиция сделали все, что могли, дабы следы его остались незаметными, и даже постарались уничтожить их совсем.

Если верить официальным данным, Люббе скитался, ночевал в убежищах для бездомных, вел 22 февраля в Нейкельне перед зданием службы общественного призрения «революционные разговоры», на которые его спровоцировали агенты полиции, и затем снова исчез. Дальше в обвинительном заключении рассказывается, что 25 февраля Люббе покупал в какой-то лавке спички и угольные зажигатели: «Растапливать печь», — якобы сказал он. С наступлением ночи Люббе направился к нейкельнской службе общественного призрения и бросил один тлеющий угольный зажигатель в уборную, а другой — на покрытую снегом крышу, но, конечно, безрезультатно. Затем он поехал, говорится далее в обвинительном заключении, к берлинской ратуше и швырнул связку угольных зажигателей через люк в подвал; в квартире машиниста вспыхнул небольшой огонь, который удалось вскоре затушить с помощью ведра воды. Наконец, в ту же самую ночь, рассказывается в обвинительном заключении, он попытался поджечь Берлинский замок, для чего взобрался на помост у фасада и швырнул половину связки угольных зажигателей в открытое

отверстие вентилятора. Загорелась оконная рама, но охрана замка моментально потушила этот совершенно незначительный пожар. Вот уж поистине ребяческая прелюдия к грандиозному поджогу; бездарная, халтурная работа, характер которой полностью противоречит точной режиссуре поджога рейхстага!

26 февраля Ван дер Люббе выезжал в Шпандау и Геннингсдорф. Ни полиция, ни прокурор не проявили ни малейшего интереса к этой его прогулке. 27 февраля он вернулся в Берлин и снова купил, как сообщается в обвинительном заключении, четыре пачки угольных зажигателей. И вот с помощью этих-то скудных средств он, как утверждают, поджег рейхстаг!

Но наиболее любопытным зрелищем было поведение Ван дер Люббе перед судом. Живой, словоохотливый, экспансивный юноша, который, как докладывали комиссар по уголовным делам Гейзик и следователь Фогт, радовался в своем глупом тщеславии большому процессу, жаждал мировой сенсации, превратился теперь в жалкую развалину, потух, как угольный зажигатель на открытой снегом крыше. Уставившись неподвижным взором прямо перед собой, он безучастно бормотал: «Да, да... Нет, нет... Может быть!» Он как будто находился под влиянием парализующего его действия гипноза или отравления. Скополамин — страшный яд. Один специалист-медик описывает его действие следующим образом: «Если давать здоровому в физическом и умственном отношении человеку ежедневно дозу от одной четвертой до одной второй миллиграмма скополамина, то он впадает в состояние полного равнодушия ко всему окружающему, лишается всех человеческих черт. Его мозг как бы парализован и находится постоянно в затуманенном состоянии. Он уже не в состоянии рассуждать разумно, его мысли блуждают, его позвоночник сгибается все больше и больше, он глупо смеется без всякой причины, он оказывается не в состоянии произвести простейшие рефлекторные движения; на вопросы он отвечает только словами «да» или «нет»».

Медицинский советник доктор Щюц, который все время находился возле несчастного Ван дер Люббе, был прекрасно знаком с этим ядом. Однако это не мешало ему записать в своем заключении, что Ван дер Люббе только симулянт. Поистине: в Германии террористы

выглядят, как почтенные чиновники, а отравители — как почтенные медицинские советники!

Ван дер Люббе хотел стать фюрером. Он стал жертвой, несмотря на свое очевидное сходство с теми никчемными существами, из которых делают фашистских фюреров. Адвокат доктор Зейферт характеризовал его в следующих словах: «И вот он говорит и говорит, и он очень дерзок; этим-то и объясняется его авторитет среди уличных мальчишек, в их уличном обществе в его юности... Он произносит громкие речи... Ему льстит, что вокруг него высокие и высшие чиновники и что все они слушают его. Он говорит один. Он заявляет: «Ах, что написано в книгах, это — ничто, я это не принимаю во внимание, я учусь у жизни!» Так он рассказывает и о своем мировоззрении. Тут он выкладывает перед своими слушателями набор пустых фраз... Винегрет из нелепых оборотов речи...»

О ком это — о Гитлере или о Ван дер Люббе? Точно так же десятки наблюдателей изображали «фюрера». Сходство просто поразительное! Однако юный Ван дер Люббе не был достаточно беспощаден, он не обладал той волей к власти, которая ведет к цели через трупы. Он был обманутым, а не обманщиком, жертвой, а не палачом. И когда он стоял так перед судом, беспомощный, отравленный, погибший человек, он представлял собой потрясающий символический прообраз всех тех отравленных и погибших людей, следовавших за «фюрером» и используемых им для организации злодеяний и преступлений против всего мира, людей, которых он сделал своими соучастниками и которым было суждено в один отнюдь не прекрасный день — слишком поздно! — пробудиться.

Осталось тайной, что было обещано несчастному Ван дер Люббе, какое заманчивое «жизненное пространство» было ему предложено. Он должен был зажечь «сигнал» к наступлению новой эпохи, этот полуслепой юноша. А затем вступил в свое действие яд, и, когда процесс закончился и был вынесен приговор, он очутился в одно хмурое утро на мрачном дворе. Он держал голову прямо, никакой яд не затемнял больше его сознания. Вдруг он широко раскрыл глаза, охваченный смертельным страхом. Он увидел плаху. Он увидел топор. Он закричал, как животное, и уже не замолкал до конца. Его пота-

шили к эшафоту, он сопротивлялся, бился, вырывался, кричал: «Дайте же мне сказать! Не я один! Не я один!» Затем голова несчастного, которого использовали для совершения преступления, скатилась на землю. Полгода спустя, 30 июня 1934 года, умерли другие — виновные больше, чем он, но также бывшие только орудиями в руках организаторов поджога: Карл Эрнст и его помощники. Десять лет спустя погибли миллионы, потому что Гитлер, Геринг, Геббельс еще находились в живых.

Взоры всего мира были устремлены к Лейпцигу. Начало было удручающим. Лепет несчастного Ван дер Люббе, а затем слабый голос подсудимого Эрнста Торглера, бесцветные выступления в свою защиту, ни одного гневного слова, никаких обвинений по адресу подлинных виновников, никаких признаков готовности к борьбе. Не повторяется ли снова мрачная история гибели республики, отступление без боя перед фашистским аппаратом насилия? Во всей Европе рабочие, антифашисты теряли мужество, видя, как легко одерживает насилие свои победы. Из казематов, камер пыток и концентрационных лагерей доносилась до внешнего мира предсмертные хрипы терзаемых жертв; они заглушали отзвуки героического, отчаянного сопротивления многих безыменных антифашистов. Казалось, что сопротивление этой вакханалии убийств бесполезно, и робкая позиция Торглера как бы подтверждала это еще раз. И тогда-то вдруг весь мир услышал голос, полный небывалой силы, мужества и уверенности, — голос Димитрова.

Корреспондент Фердинанд Куглер так описывает свое первое впечатление: «Георгий Димитров, родившийся в 1882 году в Радомире, — неукротимый, гордый, презирающий опасность революционер; он македонец; семь месяцев тюремного заключения, из них пять месяцев в кандалах, ни в малейшей мере не укротили ни его упрямства, ни его темперамента. Высокий человек с волнистыми седеющими волосами, первоначальный цвет которых был, должно быть, густо-черный. Черные, сверкающие глаза, высокий, широкий лоб, дерзкий крючковатый нос...»

Допрос начинается с заявления председателя суда Бюнгера о том, что Димитров вел себя во время предварительного следствия недисциплинированно и что было бы лучше, если бы он держался перед судом иначе.

Димитров отвечает: «Если бы вы были так же невинны, как я, и если бы вас держали семь месяцев в тюрьме, и из них пять месяцев день и ночь в кандалах, вы бы тогда, господин председатель, поняли, что можно выйти из терпения».

Весь зал слушает с изумлением: звучит резкий и сильный голос; слова в его речи выделяются, как скалы горного массива. Бюнгер пытается шорохом своих протоколов, сухими канцелярскими вопросами: «Как вас зовут? Когда вы родились?» и т. д. — снизить тон, сузить завоеванное подсудимым пространство. Одним движением руки Димитров как будто отбрасывает от себя эти вопросы и в ясных четких словах рассказывает суду, всему миру, кто он. Горный поток большой жизни проносится через зал, он сметает все бумаги, размывает гнилое болото германской юстиции.

«Верно, что я большевик, пролетарский революционер. Я должен подчеркнуть: *пролетарский* революционер, так как ведь сейчас все происходит наоборот, даже германский кронпринц объявляет себя революционером... Я являюсь ответственным и руководящим коммунистом. Но именно поэтому-то я не авантюрист-террорист, не заговорщик и не поджигатель... Борьба за диктатуру пролетариата и за победу коммунизма бесспорно составляет содержание всей моей жизни...»

Вновь и вновь пытается председатель суда сдержать этот бурный горный поток, но весь его рутинный опыт не помогает ему обуздать стихийную силу Димитрова. Его реплики остаются без ответа. Димитров завладел инициативой и больше не выпускает ее из своих рук. Если он время от времени и отвечает на вопрос, то это означает только новый смелый удар. Бюнгер спрашивает: «Как, собственно, вы себе представляете, для чего вы здесь?» — и Димитров отвечает: «Я здесь для того, чтобы защищать коммунизм и себя самого!»

Сначала — ясное заявление о своих убеждениях, чтобы сразу расчистить и очертить место для борьбы — здесь, на этой открытой местности, в области политики я дам бой, и на этом поле битвы я одержу над вами победу — только в рамках этой большой наступательной битвы будет вестись личная защита:

«*К поджогу рейхстага* я не имею абсолютно никакого — ни прямого, ни косвенного — отношения... Когда

утром 28 февраля в поезде, шедшем из Мюнхена в Берлин, я прочел в газетах о поджоге рейхстага, я сразу решил, что организаторами этого дела являются либо *подлые провокаторы, либо умственно и политически ненормальные люди* — во всяком случае, враги немецкого пролетариата и коммунизма.

Теперь я более склонен предположить, что поджог рейхстага — это антикоммунистическое деяние — возник на основе союза *политической провокации и политического сумасшествия...*

Я могу спокойно сказать, что к поджогу рейхстага я имел такое же отношение, как, например, и любой иностранный корреспондент, сидящий в этом зале, или сами *господа судьи...*

Протоколы же допросов не были мною подписаны потому, что они были неполны и тенденциозны.

Все предварительное следствие против меня велось с предвзятостью и с явным намерением *любой ценой* вопреки всем противоречащим этому фактам сфабриковать из меня для имперского суда поджигателя рейхстага, после того как длившееся месяцами предварительное следствие оказалось не в состоянии, как это теперь для меня ясно, найти настоящих виновников».

Впечатление от первой речи Димитрова перед имперским судом было огромно. Это была не защита, а нападение, меч возмездия, как молния, сверкнувший над головами виновных. Действительность не только оправдала все опасения Бюнгера, но и далеко превзошла их; на передний план выступила политическая сторона дела, а вместе с нею и вопрос о подлинных поджигателях. Но произошли и еще более опасные вещи: буря и солнечный свет разнесли в клочья ядовитый туман антикоммунистической пропаганды, и перед взорами всего человечества предстал не страшный призрак из тумана, а великий и человечный облик истинного борца за свободу.

Такая солидная газета, как «Таймс», писала тогда: «Этот болгарин обладает, по-видимому, врожденным чувством собственного достоинства». Антикоммунистическая «Пти Паризьен»: «Димитров не отвечает на вопросы. Он нападает». Архиреакционная «Газета Варшавска»: «Димитров — это человек, обладающий блестящим умом и способностями. Он превращает скамью подсудимых в трибуну обвинителя. Димитров обвиняет нацист-

ское правительство и германскую юстицию, иностранные корреспонденты с величайшей симпатией устремляют свои взоры на этого большевика. Таким образом, результатом процесса явилось то, что коммунистическая идея, которую собирались уничтожить, существенно укрепилась, приобретая новых поклонников». И даже нацистская пресса против своего желания была вынуждена подтвердить глубокое влияние духа и характера Димитрова. Газета «Лейпцигер нейестен нахрихтен» писала через день после этого: «При первых же словах Димитрова чувствуется, что этот человек сделал из этого большого процесса существенную, неотъемлемую часть своей собственной жизни, жизни, целиком и полностью посвященной политике. Независимо от того, какую роль он сыграл в поджоге рейхстага, уже теперь становится ясно, что он является, в смысле моральном, поджигателем невиданной величины...» А вот «Нейе Лейпцигер цейтунг»: «Димитров — опытный психолог. Доктору Бюнгеру было очень нелегко справиться с этой вулканической личностью на скамье подсудимых. Он использовал в своих целях даже микрофон и никогда не забывал косвенным способом обращаться к иностранным корреспондентам. Там он ищет сочувственных откликов и (один только взгляд на заграничную прессу доказывает это) отклики эти не замедлят последовать».

Димитров встретил сочувственные отклики не только в среде рабочего класса, который увидел в нем воплощение своей великой идеи в полном блеске и силе, но и у всех свободолюбивых людей, для которых человеческое достоинство — не пустой звук. Газеты, которые не имеют ничего общего с рабочим движением и никогда не обнаруживали ни малейшей благосклонности к коммунизму, писали, полные почтительного изумления: «Димитров — это чудо».

Этот отзвук во всех сердцах, эти симпатии и восхищенное изумление были вызваны прежде всего мужеством, презрением к смерти, вулканической страстностью Димитрова. Однако «чудо» состояло в том, что эти героические качества выступали в соединении, в полном единстве с высшим сознанием, с чувством мудрой дисциплины, с глубоко продуманной, учитывающей все частности стратегией. Димитров сам описал эту стратегию в своих беседах с Вилларом:

«Прежде всего, захватить и удержать за собой инициативу.

Для этой цели я должен был набросать и провести в жизнь единый стратегический план.

Я наметил своей целью не только не оставить камня на камне от обвинения, но политически совершенно уничтожить и самого врага. Уничтожить его в сознании общественности, предать его всеобщему осмеянию.

Я начал с полиции. Затем очередь дошла до следователя, этого знаменитого господина Фогта, «германского судьи». С этим человеком было покончено. Всякий раз, когда я позднее требовал подвергнуть его новому допросу, суд был вынужден поспешно отказывать мне в этом.

Точно так же я напал на обоих прокуроров, сначала на имперского прокурора Паризиуса, затем на верховного прокурора Вернера, на этих составителей обвинительного заключения.

Затем на адвокатов, прежде всего на защитника Торглера доктора Зака и, естественно, на доктора Тейхерта, мною отклоненного и все же насильственно навязанного мне защитника.

Затем на гитлеровскую прессу; на нее я нападал непрерывно; я старался заклеить каждый из ее низких поступков; замечу, кстати, низости этих газет косвенным образом немало мне помогали, так как по ним я уяснял себе, достигли ли своей цели мои удары.

Таким путем суд был в конце концов изолирован, измотан этими боями. По отношению к нему моя тактика была более гибкой. Но и здесь мне все время удавалось сохранять за собой инициативу, которую я захватил в свои руки в самом начале».

Никаких необдуманных действий, никакой безрассудной отваги; мужество, которое взвешивает все шансы, отвага, которая не является самоцелью, а постоянно подчиняется общему плану действий — таков метод Димитрова, таков великий пример, данный им в Лейпциге. Он на деле показал, как нужно действовать, и позднее, когда весь мир видел в нем прежде всего героя Лейпцига, он стремился привлечь внимание к той стороне дела, которая меньше всего отмечалась, — к методу своей борьбы. Он подчеркивал:

«Нужно самым тщательным образом учитывать все

детали обвинительного заключения и судебной процедуры, следить за всем, использовать все возможности, представляющиеся в ходе судебного процесса: конкретные обвинения следует опровергать конкретными фактами...

Конечно, прежде всего нужно иметь мужество. Но совершенно неправильно и просто глупо бросаться коммунистическими фразами и оскорблять суд...

Я не стал начинать с характеристики суда, как орудия фашистской диктатуры, потому что, если бы я поступил таким образом, я лишил бы сам себя возможности продолжать свою защиту. Однако я защищал себя таким образом, что заставил весь мир понять — этот суд действительно является орудием фашистской диктатуры».

После своей первой речи, этой большой политической битвы, приведшей к прорыву боевой линии противника, в результате которой он захватил инициативу, Димитров начал систематически наносить удары по фашистскому государственному аппарату в лице его отдельных представителей, раскрывать его низость и подлость.

Насмешливо, с убийственной иронией он освещал методы работы полиции, до тех пор, пока каждый не убедился, до чего неуклюже все это было подстроено, какими белыми нитками были заштопаны дыры обвинения. Вот один пример: когда Гейзик рассказывал о первом допросе Ван дер Люббе в полицей-президиуме и вложил в уста несчастному голландцу пространные, хорошо подготовленные речи, Димитров спросил только: «На каком языке говорил Ван дер Люббе?» И когда озадаченный Гейзик ответил, что Ван дер Люббе говорил бегло по-немецки, Димитров задал вопрос вторично: «Говорил ли Ван дер Люббе бегло по-немецки своими собственными устами, своим собственным ртом?» И вновь так, что каждое слово пронизано иронией: «Своими ли собственными устами, своим ли собственным голосом дал Ван дер Люббе те объяснения, на которых построено обвинение?» Ван дер Люббе единственный раз в своей жизни говорил бегло по-немецки: устами и голосом немецкого полицейского чиновника. Димитров использовал каждую возможность высмеять полицию за то, что у нее где-то запропали важнейшие свидетели, исчезли важнейшие следы, в то время как она с неутомимым рвением собирала всевозможные «материалы» и сплетни. Полиция

нашла у него записную книжку с зашифрованными телефонными номерами; испробовав массу различных «теорий» расшифровки, полицейские чиновники в конечном счете были вынуждены с весьма обескураженным видом признаться суду, что они оказались не в состоянии разгадать правильные номера. Димитров молниеносно нанес удар: «При выяснении телефонных номеров полиция обнаружила свою колоссальную неспособность!» Его удалили с заседания, но он выкрикнул, прежде чем покинуть зал: «Это неслыханно! Я думаю, приговор мне уже вынесен в другом месте!» Это был мастерский двойной удар: собранные полицией «улики» были обесценены (ведь полицейские не были способны даже зашифрованные номера телефона прочитать!) и одновременно был сделан вывод: так называемые доказательства просто смехотворны, но в гитлеровском государстве приговоры выносятся не в соответствии с доказательствами, а по приказу.

Точно так же, как полиции, досталось и следователю Фогту. Димитров стремился к тому, чтобы с помощью одного яркого примера разоблачить методы ведения предварительного следствия. Он дразнил этого трусливого и болтливого палача и довел его до того, что тот, гордо выпятив грудь, с комическим пафосом прокаркал: «Я германский судья, я имперский советник суда, кроме того, меня зовут Фогт! Я никогда в жизни не сделал ничего, что было бы несовместимо с честью германского судьи!» Теперь наступил момент проткнуть этот раздувшийся пузырь и заставить его с треском лопнуть. Властным тоном, в котором ясно звучит оскорбление, Димитров задает вопрос: «Не передавал ли свидетель, будучи следователем, 1 апреля для публикации в прессе материал, в котором утверждалось, что Димитров, Попов и Танев подожгли вместе с Ван дер Люббе рейхстаг? Я спрашиваю: да или нет?» Немецкий судья Фогт съеживается, воздух из пузыря выходит; только что Фогт кричал о чести, а теперь он должен отвечать за бесчестную клевету на находящегося под следствием человека. Председатель суда Бюнгер спешит ему на помощь: «Димитров, если вы не измените своего тона, я просто запрещу вам ставить вопросы». Но Димитров сознательно выбрал именно этот тон, тон судьи, который ведет следствие и допрашивает обвиняемого. Фогт так смущен, что

произносит заикаясь: «Действительно, такое сообщение было передано в прессу, и в нем указывалось, что трое арестованных болгар участвовали в поджоге или во взрыве кафедрального собора в Софии». Он старается избежать взгляда черных глаз Димитрова и ищет отговорок, как глупый школьник: «Я сказал позднее Димитрову, что это сообщение, кажется, было ложным». В зале шум, кашель; Фогт все больше сжимается, трепещет: «Но он сам в этом виноват, потому что он никогда не поправлял меня, когда я, говоря о болгарском восстании 1923 года, связывал с ним также взрыв собора, тогда как в действительности этот взрыв имел место только в 1925 году». От гордости имперского советника суда уже ничего не осталось, и теперь Димитров наносит этому истинно германскому судье последний удар: «Вы совершенно неправильно поняли мой вопрос. Я говорил вовсе не о так называемом покушении, но о том, что еще до начала предварительного следствия следователь распространял категорическое утверждение о моем участии в поджоге рейхстага. Этим я хочу доказать, что это было тенденциозное следствие, обман общественного мнения».

Бюнгер вскакивает: «Я этого больше не потерплю! Замолчите!» Но Димитров знает, что именно теперь нужно окончательно уничтожить этого Фогта. Он берет в руку какую-то книгу и восклицает: «Основываясь на установленном порядке ведения уголовного процесса, я утверждаю, что меня заковали в кандалы противозаконно!» Снова Фогт изощряется, выискивая всевозможные отговорки, пока Димитров не разделяется с ним окончательно, как бы презрительно отбрасывая прочь жалкие остатки того, что называется немецким чиновником юстиции: «Вот насколько объективен он!» С Фогтом покончено; в заключение подсудимый выносит приговор этому осужденному: «Его методы ведения следствия были неправильными, тенденциозными и жестокими».

Димитров не оставляет неиспользованной ни одной возможности для того, чтобы публично разоблачить несостоятельность обвинительного заключения и заклеить его авторов, прокуроров Паризиуса и Вернера. Наивысшая конкретность является его методом при этом беспощадном нападении. Он никогда не говорит вообще, непонятным народу языком тезисов о государственном аппарате, о классовой юстиции, об агентах монополи-

стического капитала и так далее, но он знает, что экономические и политические силы воплощаются в живых людях. Этих живых людей и нужно поражать, а уж через них самую систему; когда германский судья Фогт, как побитая собака, бочком пробирается к выходу, это является более чувствительным ударом по гитлеровской юстиции, чем любое принципиальное и совершенно правильное заявление. Поэтому-то Димитров никогда не выступает против анонимной «стороны обвинения», но нападает персонально на господ прокуроров. Он говорит о «классическом обвинительном акте господина доктора Паризиуса» и называет его «лучшей пропагандой в пользу коммунизма». Если перед скамьями судей выступают подозрительные свидетели, уголовные преступники, он говорит, подчеркивая каждое слово: «У меня имеется вопрос к свидетелю доктора Паризиуса» или «к свидетелю верховного прокурора Вернера». И затем, когда вся никчемность показаний такого свидетеля становится для присутствующих явной, Димитров восклицает с убийственной иронией: «Я поздравляю вас с вашим свидетелем, господин прокурор!»

В борьбе против защитников тактическая задача состояла в разоблачении их роли сообщников гитлеровской юстиции и гитлеровской партии — не путем общих рассуждений, а на фактах, выводы из которых напрашивались сами собой. Димитров не стремился объявить с самого начала, что все эти люди не заслуживают никакого доверия; его цель заключалась в том, чтобы на ярких конкретных примерах показать каждому непредубежденному человеку, что все они одним миром мазаны, все принадлежат к одному «сообществу заговорщиков», состоящему из фашистских нарушителей законов. Неустанно, вновь и вновь Димитров ставил перед судом вопрос о привлечении иностранных адвокатов; упорный отказ выполнить это требование, более убедительно, чем что-либо другое, показывал, что эти люди боятся объективного контроля, они хотят остаться в своем кругу, эти заговорщики, хорошо знающие, в чем их вина. Неустанно требует он от приставленного к нему официального защитника, адвоката доктора Тейхерта, чтобы тот предпринимал различные шаги, как это положено защитнику; тем самым он вынуждает этого доверенного нацистской партии открыть его карты и самому разоблачить под-

линный характер возложенных на него функций. И только благодаря этому приобретает особую убедительность следующее ироническое замечание Димитрова.

«Хотя я и не юрист, но думаю все же, что могу понять, что назначенный защитник не обязан руководствоваться предписаниями подсудимого. И, конечно, у меня никогда не было такого намерения. Но, с другой стороны, официальный защитник также не является начальником над подсудимым и не может в данном случае действовать согласно так называемому «Führerprinzip» («по принципу фюрера»)...»

«Я не питаю какого-либо персонального недоверия к г-ну д-ру Паулю Тейхерту, как к личности и адвокату. Но при современном положении вещей в Германии я не могу питать необходимого доверия к Тейхерту как официальному защитнику. Поэтому я пытаюсь защищать себя сам...»

12 октября Димитров был вновь удален с заседания за то, что бросил реплику председателю суда Бюнгеру: «Я не только обвиняемый Димитров, но и защитник Димитрова». И после этого исключения с заседания последовал замечательный лобовой удар — письмо на имя председателя суда, которое взволновало всю мировую общественность:

«После того как Имперский суд отклонил всех восьмерых предложенных мной по моему выбору защитников, мне не остается ничего иного, как самому себя защищать, как я это могу и понимаю. Таким образом, я вынужден выступить перед Имперским судом в двойной роли: во-первых, как *подсудимый Димитров*, во-вторых, как защитник *подсудимого Димитрова*.

Я допускаю, что и как подсудимый и как защитник самого себя я неудобен и неприятен моим обвинителям и их заказчикам. Но я тут ни при чем.

После того как судебные власти имели неосторожность посадить меня, совершенно невиновного, на скамью подсудимых перед Имперским судом как «Ersatz» поджигателя рейхстага, они должны расплачиваться за свою неосторожность. Они заварили эту кашу — теперь они должны ее расхлебывать. По вкусу им она или нет, это не мое дело; это меня совсем не интересует.

Я считаю, что перед Имперским судом я должен держать себя как политический подсудимый, а не как сол-

дат в казарме или военнопленный в концентрационном лагере...

Защищаться и активно участвовать в судебном процессе в качестве и подсудимого и защитника самого себя — это мое естественное право. Ясно, что никакие удаления с заседаний суда и судебных сессий не могут меня запугать...

Если все же такое нетерпимое для меня обращение будет продолжаться, тогда — я должен об этом прямо заявить — я буду вынужден подумать, независимо от возможных последствий, имеет ли смысл вообще появляться дальше перед судом».

Это письмо от 12 октября является одним из наиболее блестящих кульминационных моментов в защите Димитрова. Здесь результаты многих тактических наступательных операций, многих отдельных прорывов фронта гитлеровской юстиции были использованы для нанесения главного стратегического удара. Полиция, следователи, адвокаты и прокуроры уже достаточно посрамлены; теперь колеблется уже весь фронт гитлеровской юстиции, теперь становится ясным, как прочно захватил Димитров инициативу в свои руки и как он умеет ее использовать. Все яснее и яснее становится также и закулисным режиссерам, что бюрократический судебный аппарат абсолютно неспособен справиться с этим серьезным противником: процессом руководит Димитров. Он совершенно уничтожает врага в глазах общественности, делает его предметом всеобщего осмеяния. И это осмеяние находит опаснейший отклик в самой Германии, даже в рядах приверженцев Гитлера. Какой хохот раздается повсюду — вплоть до самых высших кругов штурмовиков и партии, когда Димитров в ответ на жалкие попытки сунуть нос в его частную жизнь отвечает с разящей издевкой: «Я не импотент, не гомосексуалист, а настоящий мужчина!» Какой удар хлыстом по гомосексуалистам — фюрерам штурмовых отрядов, по импотенту — рейхсканцлеру, по всему этому сброду вырождков, уродов и дегенератов! И какое удовлетворение даже у многих национал-социалистов вызывает Димитров, когда он клеймит свидетеля Карване, этого депутата от национал-социалистской партии, который еще в 1925 году принадлежал к разложившейся группе Ивана Каца в Коммунистической партии Германии: «Не была ли

группа Ивана Каца в 1925 году постановлением Коммунистического Интернационала выброшена из коммунистической партии, как враждебная троцкистская и анархистская, в которой были преступные элементы? Не были ли члены этой группы выброшены как провокаторы и агенты политической полиции, действовавшие против Коммунистической партии Германии?» И в какое жалкое положение попадает весь суд, когда Димитров берет допрос Ван дер Люббе в свои руки: «Коммунистический Интернационал хочет иметь полную ясность по вопросу о поджоге рейхстага. Миллионы ожидают ответа!» И Бюнгер замечает беспомощно: «Кто здесь председатель? Замолчите, немедленно!» А Димитров, устремляя взор поверх его головы вдаль, как бы взламывая стены здания, повторяет: «Миллионы ожидают ясного ответа!»

Да, возникал вопрос: «Кто здесь председатель? Кто обвинитель? Кто судья?» Весь мир отвечает: Димитров. Под обаянием его личности находятся все, не только народы там за рубежом — сотни миллионов, — но и здесь, в Германии, даже в зале суда: корреспонденты, сами судьи, судейские чиновники, штурмовики из охраны. Ежедневно приходится их сменять, потому что они с восхищением смотрят на этого коммуниста, они говорят о нем: «Он просто великолепен!» По тому, как относится к нему его стража, Димитров может ежедневно проверять, достиг ли он желаемого результата, попал ли он в самый центр мишени или промахнулся.

Нацистские руководители беснуются, наблюдая действия суда, проклиная Бюнгера — этот раздутый резиновый мяч, который подпрыгивает на своем месте, проявляет недостаток находчивости, все больше становится смешным со своими постоянными восклицаниями: «Вас следует подтянуть, Димитров... Я больше этого не позволю... Я замечу себе эти ваши слова на будущее... Замолчите наконец... Это уже наглость!» Кроме того, им все-таки не доверяют, этим старым чиновникам; за их вялостью чувствуется тайное злорадство, и Димитров сам проводит хорошо рассчитанное различие между судом и явными нацистами, засевшими в государственном аппарате. Он дает понять суду, что не ставит его на одну ступень с нацистскими выродками. После одного столкновения с Бюнгером он извиняется, причем тонко подчеркивает политический оттенок своих слов: «Я заявляю,

что я вовсе не имел в виду лично оскорбить кого-либо из состава суда. Я не имею такого намерения также и на будущее... Я хочу лишь одного, чтобы мне предоставили возможность говорить свободно. Я хочу высказываться спокойно и только по делу. Я не нуждаюсь ни в сочувствии, ни в снисхождении, я хочу защищать себя как коммунист и как без вины обвиненный». Нацистских вождей всё больше охватывает недовольство и беспокойство. Они чувствуют, что дело приобретает опасный оборот. Теперь их очередь; теперь они сами должны спасать положение и показать этому суду, как следует вновь овладеть потерянной инициативой.

Геринг решает сам вступить в борьбу с Димитровым; 4 ноября он предстает перед судом.

В высоких сапогах, широко расставив ноги, подбоченившись — груды мяса, затянутая в форму штурмовика, — так стоит в зале суда прусский премьер-министр и председатель рейхстага Герман Геринг, самоуверенный, раздувшийся — самый могущественный человек в гитлеровской партии, олицетворение государственной власти. За ним — охрана из эсэсовцев; бряцание оружием в коридорах суда; весь правительственный квартал представляет собой военный лагерь. Сладостная дрожь изъясления преданности охватывает всю присутствующую в зале свиту; слышится что-то вроде блаженного хрюканья, издаваемого верноподданными нацистами. Один немецкий газетный писака, Адольф Штейн, который откладывал свои литературные экскременты под псевдонимом «Румпельштильцхен», изложил свои впечатления в следующих словах: «Этот Геринг пышет силой и энергией. Черт побери, вот это настоящий солдатский голос! Еще ни один свидетель не произносил в момент присяги «и да поможет мне бог!» голосом, в котором так звучала бы медь колокола...»

Да, «Железный Герман», как он называл сам себя, является для немецкого мещанина подлинным воплощением выдуманного им «сверхчеловека», мифического, чудовищной силы зверя из болот Германии.

Геринг, «сверхчеловек», олицетворенная жестокость, морфинист, беззастенчивый авантюрист, варвар и декадент одновременно, жадный до неистовства, ненасытный в своем стремлении к деньгам, власти, роскоши, орденам, титулам, нарядам, к смешным, романтическим

рыцарским замкам, беспредельно тщеславный, безудержно хвастливый выскочка, по своему происхождению — не пруссак, однако полное воплощение реакционного пруссачества с его вечным стремлением к экспансии, с его страстью к войне, с его манией величия и потрясающим бескультурьем. Геринг, ставленник хозяев тяжелой промышленности и юнкерства, олицетворение единства экономики, армии и государственной власти; само фашистское государство, представленное одним безмерно раздувшимся индивидуумом. Геринг, который восстановил средневековую казнь мечом и отдал приказ опускать смертоносное лезвие на горло жертвы так, чтобы последний взгляд осужденного еще мог уловить его блеск. Геринг, который развязал животные инстинкты немецкого мещанина. Восторженный трепет вызывали у всех всегдатаев пивных его высказывания: «Я благодарю создателя, что мне незнакома объективность... Если они говорят, что там-то и там-то кого-то забрали и истязают, я могу на это только ответить: лес рубят — щепки летят... Пока коммунисты не бегают по улицам с отрезанными носами и ушами, нет никаких оснований для беспокойства... Лучше я раз-другой дам недолет или перелет, но я по крайней мере постреляю... Полиция существует не для того, чтобы опекать в тюрьмах 80—100 тысяч преступников. Место ложной гуманности здесь должна заступить необходимость, даже если она покажется слишком суровой...» И за этими словами дымится кровь в камерах пыток и в концентрационных лагерях и с самого дна преступного мира в Германии на свет выплывает допотопное чудовище, втаптывая в грязь, уничтожая и пожирая все человеческое. Таков Геринг — «сверхчеловек», в то время могущественнейший человек в Германии, временами обладавший большей властью, чем Адольф Гитлер, его «фюрер».

Его великолепие красуется перед судом, широко расставив ноги: ожиревший дикий бык, который решил поднять на рога своего противника; это сравнение принадлежит тому же Адольфу Штейну — Румпельштильцхену. И в то время как Геринг громовым голосом произносит свою речь, Димитров внимательно наблюдает за этим опасным зверем, который наконец вылез из своей берлоги для того, чтобы вступить в борьбу. Этому зверю нужно раздражить, думает Димитров, довести до белого

каления, он перестанет владеть собой, и тогда — удар, и еще удар...

«Утверждают, что мой друг Геббельс внушил мне этот план — поджечь рейхстаг, — гремит Геринг и покачивается на жирных бедрах, — и что я с радостью провёл этот план в жизнь. Далее утверждают, что я наблюдал за этим пожаром: я полагаю, закутанный в голубую шелковую тогу. Не хватает еще только утверждений, что я, как Нерон при пожаре Рима, играл на лютне».

Тщеславный глупец! — думает Димитров. Рычит, как лев, а защищается, как осел.

«Этим идиотским расследованием, организованным за границей, мы вообще не должны заниматься, иначе мы отречемся от нашего собственного понятия о праве... Ведь в «Коричневой книге» обо мне сказано, что я законченный идиот, убежавший из сумасшедшего дома...»

Так и есть: дурак. Власть вскружила ему голову, он плохо соображает. Иностранная пресса полна потрясающих сообщений о жестокостях нового режима, об истязаниях заключенных, о бесконечной ночи «длинных ножей», окутанной дымом пожаров и пропахшей кровью. Немецкая пропаганда до сих пор упорно отрицала все эти зверства. Геринг в своей безудержной болтливости не считается с официальной пропагандой; фактически он не оставляет от нее камня на камне: «Да, эти террористические акты действительно были совершены, но совершены коммунистами, переодетыми в форму штурмовиков!» Это прямое признание и одновременно проявление скрытой борьбы против руководителей штурмовых отрядов, которые вместе с Геббельсом пытаются немножко поприжать своего ставшего слишком сильным сообщника — Геринга. Во всяком случае лицемерные заверения руководителя ведомства пропаганды Геббельса в том, что в гитлеровской Германии царят идиллические отношения, бесцеремонно дезавуированы Герингом.

И затем — взволнованный рассказ об ужасах, которые якобы собирались организовать коммунисты и сигналом для которых, мол, должен был послужить пожар в рейхстаге: поджоги, грабежи, убийства заложников, массовые отравления; Геринг упивался кровавыми видениями, порожденными его фантазией, его глаза помутнели, выкатились из орбит; он нарисовал страшную

картину будущей Европы, в которой гитлеровская Германия позже будет устанавливать свой «новый порядок»... И от этого-то, рычал Геринг, он спас Германию и всю Европу. «Прежде всего нужно было двинуть против врага аппарат государства. Я разъяснил моей полиции: если стреляют, это стреляю я. Если кто-то лежит убитый, это я его застрелил! Но я требую, чтобы не стреляли впустую». Гул удовлетворения в аудитории, которая состоит в этот день из самых избранных функционеров национал-социалистской партии. Штейн-Румпельштильцхен писал: «Это до такой степени язык настоящего мужа... что лица в зале светлеют, глаза некоторых судей прикованы к говорящему. Этому Герингу в самом деле можно поверить, что он поднимет на рога шесть миллионов коммунистов и бросит их на землю. Вряд ли когда-либо еще существовал министр внутренних дел, который обладал бы таким зарядом силы воли».

Теперь встает Димитров, медленно... У него бледное напряженное лицо, правая рука опирается на спинку скамьи, спокойная сдержанная сила лицом к лицу против звериной энергии прусско-германского властителя.

Он задает свои первые вопросы: деловито, взвешивая каждое слово, вскрывая противоречия между показаниями Геринга и других свидетелей. Это пока только проба оружия, обдуманная, осторожная подготовка к наступлению. Сначала нужно несколько охладить накаленную атмосферу, создавшуюся после речи Геринга, заставить зал внимать сдержанному твердому голосу Димитрова, принудить противника стать на жесткую почву фактов. Бюнгер, который нервничает больше, чем когда-либо прежде, начинает дышать свободнее; ему кажется, что Димитров решил на этот раз не давать воли своему темпераменту. Геринг, подболевшись, отвечает самодовольно. Он преисполнен сознания своей власти и полной безопасности.

Внезапно Димитров наносит ему свой первый удар с фланга:

«28 февраля премьер-министр Геринг дал интервью о поджоге рейхстага, где говорилось: у «голландского коммуниста» Ван дер Люббе был при аресте отобран помимо паспорта и членский билет коммунистической партии. Откуда знал тогда г-н премьер-министр Геринг, что у Ван дер Люббе был с собой партбилет?»

Геринг отвечает: «Нужно сказать, что я до сих пор очень мало интересовался этим процессом...» Только после этого глупого ответа он начинает понимать, насколько опасен этот вопрос Димитрова; он быстро поворачивается в сторону спрашивающего и видит под насмешливо приподнятыми бровями взгляд, полный застенчивой иронии. Хищник начинает злиться и фыркать: «Я только иногда слышал, что Вы — большой хитрец. Поэтому я предполагаю, что вопрос, который вы задали, давно ясен для вас... Я не хожу туда и сюда и не проверяю карманы людей. Если Вам это еще неизвестно, я говорю Вам: полиция обыскивает всех опасных преступников и сообщает мне, что ею найдено».

Димитров достиг, чего он хотел: Геринг, который до этого говорил, не обращаясь к нему, глядя не на него, а только на председателя суда, переменил свою позу. Бык опустил рога и направил их на своего врага. Человек и зверь стоят теперь друг против друга. Димитров, не спуская глаз с взбешенного премьер-министра, наносит очередной удар:

«Трое чиновников уголовной полиции, арестовавшие и первые допросившие Ван дер Люббе, единодушно заявили, что у Люббе не было найдено партбилета. Откуда же взялось это сообщение о партбилете, хотел бы я знать?»

Смысл вопроса совершенно ясен: почему ты лжешь так глупо и трусливо? Геринг хорошо это понимает; у него вздуваются жилы на лбу, он отвечает торопливо и необдуманно: «Это я могу Вам сказать совершенно точно. Сообщение это было мне сделано официально. Если в ту первую ночь сообщались вещи... если какой-нибудь чиновник, быть может, на основе показаний заявил о том, что у Люббе был при себе партбилет, а проверить такое показание не было возможности, то, следовательно, это было расценено, вероятно, как факт, и мне, само собой разумеется, так и сообщили. Я на следующий же день, до обеда, передал это сообщение в печать... Само по себе это не имеет значения, ибо здесь, на процессе, как будто бы установлено, что у Ван дер Люббе не было партбилета».

И вот — мастерски рассчитанный удар Димитрова: «Свидетель является премьер-министром, министром внутренних дел и председателем рейхстага. Несет ли министр ответственность за свою полицию?»

Что должен тут ответить Геринг? В своей речи он прокламировал «принцип фюрера»: «Если стреляют, это стреляю я!» А если лгут — кто лжет? Он не может уклониться от ответа на вопрос и рывкает по-солдатски: «Так точно!».

Задав подготовительный промежуточный вопрос, почему полиция с такой явной небрежностью занималась вопросом о связях Ван дер Люббе, Димитров берет быка за рога: «После того как Вы, как премьер-министр и министр внутренних дел, заявили, что поджигателями являются коммунисты, что это совершила Коммунистическая партия Германии с помощью Ван дер Люббе, коммуниста-иностранца, не направило ли это Ваше заявление полицейское, а затем и судебное следствие в определенном направлении и не исключило ли оно возможности *идти по другим следам* в поисках истинных поджигателей рейхстага?»

Кровь бросается Герингу в голову. Человек, который чванится тем, что он никогда не теряет самообладания, уже начинает выходить из себя. Вначале он еще пытается взять себя в руки; этот «сверхчеловек» принимает высокомерный тон: «...Закон предписывает уголовной полиции, чтобы при всех преступлениях расследование велось по всем направлениям... Я не чиновник уголовной полиции, а ответственный министр, и поэтому для меня было не столь важно установить личность отдельного мелкого преступника, а ту партию, то мировоззрение, которые за это отвечают. Уголовная полиция выяснит все следы — будьте спокойны». Бюнгер ерзает на своем месте: «выяснит все следы» — что он говорит в своем возбуждении, этот министр? Уж по крайней мере он должен был сказать: расследовала все следы. И во что все это выльется? Неужели эта туша в мундире штурмовика не догадывается, что замышляет Димитров? Геринг чувствует только гордую отвагу коммуниста, который бросает ему вызов; что это за власть, которая не в состоянии утратить этого заключенного? — сверлит его голову мысль. Он сжимает кулаки: «С моей точки зрения, это было политическое преступление, и я точно так же был убежден, что преступников надо искать в вашей (о б р а щ а я с ь к Д и м и т р о в у) партии». Теперь он теряет всякое самообладание. Геринг размахивает кулаками и, угрожая Димитрову, который внимательно наблюдает

за ним, кричит в бешенстве: «Ваша партия — это партия преступников, которую надо уничтожить!»

И Димитров, поднявшись во весь рост, отвечает: «Известно ли г-ну премьер-министру, что эта партия, которую «надо уничтожить», является правящей на шестой части земного шара, а именно в Советском Союзе, и что Советский Союз поддерживает с Германией дипломатические, политические и экономические отношения, что его заказы приносят пользу сотням тысяч германских рабочих?»

Геринг тяжело дышит. Бюнгер, опасаясь, что он совершит глупость, которая может иметь катастрофические последствия, пытается вмешаться, чтобы предостеречь министра и спасти положение: «Я запрещаю Вам, — говорит он Димитрову, — вести здесь коммунистическую пропаганду!»

Димитров: «Г-н Геринг ведет здесь национал-социалистскую пропаганду!» И затем, не сводя глаз с хищника, пуская одновременно в ход и красный платок и холодное оружие: «Это коммунистическое мировоззрение господствует в Советском Союзе, в величайшей и лучшей стране мира, и имеет здесь, в Германии, миллионы приверженцев в лице лучших сынов германского народа. Известно ли это...»

Ощущение густой тяжелой крови абсолютно лишает Геринга способности соображать что-либо. Нет больше премьер-министра, остался только лающий цепной пес антикоммунизма, палач, убийца. Он подступает к Димитрову и рычит: «Я вам скажу, что известно германскому народу. Германскому народу известно, что здесь вы бесовестно себя ведете, что вы явились сюда, чтобы поджечь рейхстаг. Но я здесь не для того, чтобы позволить вам себя допрашивать, как судье, и бросать мне упреки! Вы в моих глазах мошенник, которого надо просто повесить».

Бюнгер в отчаянии. Во имя чего тогда он всячески старался сохранять хотя бы видимость германского «правового государства», своим осторожным ведением процесса успокоить границу? Этот Геринг начисто уничтожил результаты его искусной работы, и перед взорами всего мира предстал оголенным кровавый произвол гитлеровского государства — лицом к лицу с человеческим достоинством, которое воплощает Димитров.

Геринг считается «государственным деятелем» национал-социалистской партии; куда приведут Германию эти «государственные деятели», эти безумцы? Бюнгеру полагалось бы призвать к порядку свидетеля Геринга, но он заклинает Димитрова: «...Я вам уже сказал, что вы не должны вести здесь коммунистическую пропаганду. Поэтому пусть вас не удивляет, что господин свидетель так негодует! Я строжайшим образом запрещаю вам вести такую пропаганду. Вы должны задавать лишь вопросы, относящиеся к делу».

Всякий, кто имеет уши, понимает, что это косвенная критика в адрес злосчастного премьер-министра. Но Геринг еще пыхтит и таращит глаза, как бык, угодивший рогами в пустоту, и Димитров знает, что его нужно разъярить еще раз. Победа уже достигнута, но суть победоносной его стратегии в том и состоит, чтобы максимально использовать победу, тотчас же повторить удар, ударить еще и еще раз. Неумолимо и уверенно Димитров находит то меткое слово, которое смертельно ранит противника и до предела обостряет всю ситуацию: «Я очень доволен ответом г-на премьер-министра».

Геринг не находит что сказать, лицо его становится багровым, кажется, что еще мгновение, и вся эта колышущаяся мясная масса взорвется. Бюнгер старается предотвратить этот взрыв: «Мне совершенно безразлично, довольны вы или нет.

Я лишаю вас слова!»

Димитров: «У меня есть еще вопрос, относящийся к делу».

Бюнгер повторяет самым решительным тоном, стремясь предотвратить дальнейшее: «Я лишаю вас слова!»

Однако он уже не может ничего предотвратить. Мясная туша взрывается. Рев быка раздается по залу: «Вон, подлец!»

Бюнгер, председатель «независимого» суда, передает приказ свидетеля дальше и дрожащими руками дает знак полицейским: «Выведите его!»

Геринг обнаруживает явное намерение наброситься на Димитрова. Однако полицейские проворнее его; они хватают подсудимого, тащат его из зала. Но Димитров еще раз обращает свое гордое лицо к Герингу, и оружие победителя вонзается в тело животного глубже, чем

когда-либо прежде: «Вы, наверно, боитесь моих вопросов, господин премьер-министр?»

Тушу подкидывает, словно подземным толчком, она прыгает, приплясывает, корчится от ярости, жирные бедра раскачиваются, руки размахивают, ноги подергиваются, как лапки лягушки, подвергшейся гальванизации,— комическое чудовище, внушающий ужас паяц. И вслед Димитрову несется яростный вой: «Смотрите, берегитесь, я с вами расправлюсь, как только вы выйдете из зала суда! Подлец!»

Юная американка, Марта Додд, дочь американского посла в Берлине, бывшая свидетельницей этого исторического эпизода, передает в книге «Мои годы, проведенные в Германии» свои первые впечатления о процессе. Она рассказывает, как Димитров внимательно наблюдал за премьер-министром, не спуская с него глаз, в то время как тот выкрикивал в зале свои свидетельские показания. Она пишет: «Димитров — блестящий, привлекательный темно-волосый мужчина, который излучал изумительную жизненную силу и мужество, каких я никогда не встречала ни у одного человека. Все в нем было полно жизни и огня: горячая вера в свое дело, возмущение и гнев пылали в нем; они отражались во всем его поведении, в его облике, в его сильном голосе... Димитров был не только проницательным диалектиком и логиком, это был замечательный человек, увлекательная, динамичная личность. Никогда не забуду я то полное внутреннее жара спокойствие, с которым он стоял против Геринга, весь его облик, пламя презрения, пылавшее в его взоре. Это была настоящая борьба, настоящая битва. На одной стороне стоял Геринг, неимоверно разбухший, выпятив колышущийся живот, опустив лицо; он важничает, но настроение у него уже несколько нервное, голос — неуверенный, жесты мелодраматичны...

Димитров, говоривший гордо и страстно, но спокойно, указал на намеренные умолчания и чреватые опасными последствиями абсурдные противоречия в показаниях Геринга. Он так умело воспользовался ими и с таким убийственным сарказмом начал разоблачать такие вещи, что Геринг закричал на него, приказывая замолчать. Геринг визжал, хрипел, лицо его побагровело; казалось, кровь вот-вот брызнет из него; задышавшись, он пытался заглушить обличающий, ясный, убеждающий голос

противника... Димитров дал ему высказаться и затем сделал несколько колких замечаний, после чего Геринг приказал вывести его из зала суда. Нацистам едва удалось выйти из положения».

Уже на следующий день стало ясно, что им не удалось выйти из положения.

Каждому стало ясно, что:

Это было первое сокрушительное поражение, нанесенное немецко-фашистским властителям. Геринг потный, багровый, доведенный до бешенства, несколько успокоившись, пытается оправдать свое хамское поведение словами: «Ведь мы же в конце концов не подсудимые, мы — обвинители». Но это не спасает от провала большой процесс, а лишь усугубляет дело. Да, процесс провалился. «Весь судебный процесс сразу же потерял всякий смысл!» — пишет на следующий день «Цюрхер цейтунг», ей вторит вся мировая пресса, включая и недемократическую.

Германия не является государством, основанным на праве, в ней царят насилие и произвол, это впервые выявилося с полной неопровержимостью. Геринг предпринял судебный приговор. Он потребовал виселицы для явно невиновного подсудимого еще до окончания судебного разбирательства. Он пригрозил: независимо от того, каким будет приговор, власть имущие отомстят обвиняемому, который осмелился обвинить их самих.

Димитров довел хищника до бешенства, выманил его из берлоги на яркий свет, на суд мировой общественности. И вот перед народами предстает преступление, убийство в обличьи премьер-министра страны, война против всего человечества как государственный принцип. Диктатура зверства.

А на другой стороне: сила сердца, свобода духа, гордое человеческое достоинство — все, что дорого цивилизованному человечеству, воплощено в образе коммуниста Димитрова. В сознании народов начинается перелом исторического значения. Гитлер хотел добиться терпимого отношения к своим злодеяниям, пуская в ход тезис нацистской пропаганды: он — защитник европейской цивилизации перед лицом «большевистского мирового заговора». Целям этой пропаганды и должен был служить процесс в Лейпциге... Когда-то для миллионов честных людей большевизм был внушающим

ужас пугалом. А теперь вдруг люди заглянули не в кри-
вое зеркало пропаганды, а увидели светлую действитель-
ность, исказить которую не могла никакая лживая про-
паганда. Коммунист Димитров и немецкий фашист
Геринг были не призрачными образами, созданными про-
пагандой, а живыми людьми, причем это были не рядо-
вые, а ведущие представители двух мировоззрений.
И было совершенно ясно: Димитров олицетворял собой
человеческую цивилизацию, борющийся гуманизм, Ге-
ринг — варварство, зверство.

В незабываемом, всемирно-историческом поединке
встретились два принципа, и каждый из этих принци-
пов — в своей законченной форме, на своей боевой по-
зиции. Это было величественное зрелище. Оно рождало
силу и бодрость. Димитров побеждает Геринга, человек
оказывается сильнее зверя. За Герингом стоит жестокий
и тупой Марс, яростный бог войны, «всем богам и лю-
дям ненавистный», за Димитровым — величественная
Афина Паллада, богиня воинствующего разума, подлин-
ной человеческой культуры. Еще в «Илиаде» рассказы-
вается о том, как Афина Паллада победила и укротила
Марса.

Спасения не принес и хитрый Геббельс, хромой Ме-
фистофель немецкой пропаганды. Он выступал в каче-
стве свидетеля перед имперским судом 8 ноября и пы-
тался потоком своих речей уничтожить неопровержимые
свидетельства победы Димитрова, развязными обезья-
ньими ужимками придать своему выступлению больше
солидности. В отличие от своего собрата по партии Ге-
ринга он явно намеревался разыграть образованного,
цивилизованного человека, но было в высшей степени
комично, когда этот проходимец ответил на конкретный
вопрос Димитрова витиеватой фразой: «Я отвечу вам
словами Шопенгауера: «Каждый человек заслуживает
того, чтобы на него смотреть, но отнюдь не того, чтобы
с ним разговаривать»». И при этом — украдкой взгляд в
публику: это ли, мол, не образованность, это ли не эру-
диция? И вот этот уродец хвастается: «Я знаю, что та-
кое пропаганда, и пусть он не пытается вывести меня из
равновесия такими вопросами». Он знает, что такое про-
паганда, для его продувной головы весь мир состоит из
одной пропаганды. Пропаганда для него — это большая
ложь, которую он считает сильнее всякой правды, и,

точно так же как кудесники у примитивных народов полагают, что они своим дыханием и криком могут вызвать ветер и бурю, так и этот маленький ученик волшебника считает, что он может своей пропагандой опрокинуть все законы развития и превращать золото в грязь и грязь в золото. Он жаждал процесса о поджоге рейхстага, основываясь на этом своем представлении о «пропаганде», а действительность внезапно испортила ему всю игру. Он думал, что его пронырливая, поднаторевшая в пропаганде головенка способна бороться с большой человеческой идеей, воплощаемой Димитровым, и вдруг оказалось, что от него, как от ядовитой мухи, Димитров отмахнулся одним движением руки. Этот маленький уродец, дефективный эрзац-ариец, несомненно, ощущал, насколько комично он выглядит, выступая против физически и духовно могучего человека — Димитрова. Он внезапно встал на цыпочки, бросил косой взгляд снизу на своего огромного противника и прокаркал изо всех своих сил: «Я давал уже отчет другим людям, не то что этому мелкому коммунистическому агитатору». Даже вышколенные штурмовики не могли подавить ухмылку, сравнивая этого маленького лгунишку с мощной фигурой Димитрова. Он выглядел, как моська, которая лает на льва: «Я перегрызала глотку и не таким зверям, как эта маленькая кошка из пустыни».

Димитров забавлялся, глядя на раздутого от важности фигляра, и использовал его присутствие лишь как повод для того, чтобы еще раз, так сказать, с другой стороны, показать незаконность нацистского режима. Геббельс, ожидавший повторения того агрессивного натиска, который Димитров применил против Геринга, и опасавшийся, как бы не скомпрометировать свою особу, даже и не заметил, что смелый и умный подсудимый преследовал на этот раз совсем другую цель. В то время как Геббельс думал только о себе самом, о своей позе, о своих шуточках и кривлянии, Димитров думал только о деле. Он стремился к тому, чтобы ясно показать кровавый путь гитлеровского движения и своими хорошо обдуманнами вопросами напомнить всему миру, что новые властители Германии — это уголовные преступники. Гитлеровская Германия — правовое государство? Взбешенный Геринг всем своим поведением дал

на это ответ: не правовое государство, а берлога хищников. Геббельс хотел сгладить это впечатление, но Димитров не позволил ему этого. Он настойчиво и неуклонно задавал ему вопросы о террористических актах нацистов до захвата власти. Не национал-социалисты ли осенью 1932 года бросали бомбы в жилища и в различные учреждения и убивали мирных людей? Разве не национал-социалисты в Потемпе зверски убили сельскохозяйственного рабочего? Не послал ли Гитлер убийцам торжественного и демонстративного приветствия? Известно ли это свидетелю? А может быть, свидетель знает, кто застрелил германских государственных деятелей Эрцберга и Ратенау? Известно ли господину министру, что национал-социалисты в Австрии и в Чехословакии — ваши партийные товарищи, господин министр! — действуют противозаконно? Они бросают бомбы в лавки мелких торговцев, в ряды спортсменов христианских организаций и в марширующих австрийских солдат — известно ли это свидетелю? В своих вопросах Димитров шел как можно дальше. Он ясно показал: широкий кровавый след тянется от самого возникновения гитлеровского движения до пожара в рейхстаге, а теперь убийство уже экспортируется из Германии в соседние страны, в Австрию и Чехословакию. Это было предупреждением всем народам, которые еще не осознавали, насколько велика опасность, и не хотели понять, что в Берлине не просто пришло к власти новое правительство, а началась целая серия убийств, конца которой не видно. Убийство немецкого ученого Лессинга, немецкого инженера Формиса в Чехословакии, убийство австрийского федерального канцлера Дольфуса, убийство французского министра иностранных дел Барту, югославского короля Александра и так далее, и так далее. Массовые убийства, расстрелы заложников, убийства детей. Смотрите на этот кровавый след? Защищайтесь против этой вакханалии убийств, организуемой из Берлина!

И затем удар в самое уязвимое место обвинения: «Все эти вопросы связаны с предъявленным мне политическим обвинением. Мои обвинители утверждают, что поджог рейхстага должен был привести к насильственному изменению германской конституции. Я спрашиваю: какая конституция действовала в Германии 30 января и 27 февраля?»

Геббельс слишком поздно понял, что Димитров имеет в виду, и сказал: «Действовала Веймарская конституция». И затем быстро добавил: «Но она была законной, и мы ее признали. Изменение ее мы не хотели предоставлять коммунистам, а намеревались провести сами. Проведенные уже изменения конституции я считал недостаточными».

Димитров ответил с деловитой иронией: «Это доказывает, что вы не уважаете германскую конституцию».

Возможно, что позднее руководитель немецкой пропаганды понял стратегию Димитрова, систематическое и конкретное разоблачение им того, что всякая законность и всякий правовой порядок в гитлеровском государстве — это только маскировка и что на самом деле гитлеровское государство является не чем иным, как царством насилия и произвола. Привести неоспоримое доказательство этому — вот в чем заключалась подлинная цель разоблачения полиции, следователей, прокуроров, защитников, всего фашистского государственного аппарата. Это с потрясающей, непревзойденной ясностью удалось показать в битве против Геринга, когда был выведен на арену и публично высечен фашистский хищник, пробравшийся к государственной власти. Еще раз, теперь уже другим, менее драматичным, но, однако, также весьма острым способом, это удалось достичь при допросе Геббельса, который важничал, как павлин, но был общипан, как ворона.

Десятью годами позже, в ослепительно резком свете мирового пожара народы распознали истинную сущность гитлеровского государства; однако тогда, во время процесса о поджоге рейхстага, еще слишком многие не хотели ничего видеть. На сотне примеров пытался Димитров показать им: не давайте себя обмануть! На словах они выдают себя за защитников «порядка и спокойствия», но по своим делам они — грабители и убийцы. Народы за пределами Германии, перед вами они изображают себя хранителями законности, защитниками цивилизации, добропорядочными европейцами, — но вот они подают знак своим бандитам и убийцам, и Гитлер посылает палачам Потемпы торжественную приветственную телеграмму. Поджог рейхстага понадобился им для того, чтобы уничтожить германскую конституцию, а затем они взбираются на трибуну и с отвратительным ли-

цемерием обвиняют невиновных в том, что те будто бы хотели поджогом рейхстага добиться насильственного изменения германской конституции. Таков их метод: каждое свое преступление сваливать на его жертву, подрыывать основы существования общества под тем наглым предлогом, что именно в этом и состоит защита этих основ. Они называют это «пропагандой»: средство, которого еще не знал Аттила, иначе он поклялся бы, что пришел в Европу для защиты спокойствия, порядка и цивилизации.

Однако в своей борьбе против фашистского государственного аппарата Димитров не только заклеил уголовников, ставших у власти; он достиг большего — своим примером он доказал, что эта власть, несмотря на жестокость, не была прочной. Страшные обороты были просто паршивыми цепными псами, дрожащими при виде плетки. «Сверхчеловеки», какими они были, пока им уступали, превращались в жалких сорванцов, когда их наказывали. Бесстрашной решимости одного-единственного человека оказалось достаточно, чтобы разрушить все сооружение из крови и лжи. И та атмосфера, которую внес с собой Геринг и которая обволакивала весь этот процесс, не была свидетельством сильной и твердой власти. Здесь перемешались наглость гангстеров и неуверенность, мания величия и слабость, шумное хвастовство и боязливое ожидание, как это будет воспринято за границей. Не давайте этим кровавым мошенникам запугать себя! — таково было энергичное предостережение Димитрова. Не так страшен черт, как его малюют. Преступления чудовищны, но их совершают подлецы, у которых отсутствует даже то мрачное величие, которое свойственно Ричарду III или Макбету. Если вы не положите конец их черным делам, их преступлениям не будет границ, потому что в эпоху величайшего развития производительных сил даже рука мелкого бродяги, если она держит рукоятку управления громадной империей, может разжечь мировой пожар. Нужно своевременно пресечь их зловещую деятельность, и тогда эти исчадия германского империализма превратятся в кучку грязных, жалких преступников.

Так учил Димитров: своевременно начинать борьбу, переходить в контрнаступление, не бежать от опасности, а немедленно выступать ей навстречу. Как было разор-

вано в клочья обвинительное заключение, состряпанное поджигателями рейхстага, так же можно разнести в клочья и всю еще неокрепшую гитлеровскую систему,— если вы только на это решитесь. Диктатура фашистского изуверства представляет собой гораздо более серьезную опасность, чем думают близорукие люди, сейчас, зимой 1933 года, но ее гораздо легче стереть с лица земли, чем думают малодушные. Оба эти тезиса Димитров доказал своим примером, выступая перед Лейпцигским имперским судом.

Его пример вызвал заслуженное восхищение, но не был достаточно хорошо понят.

ЧЕРТОВ КРУГ

После битвы с Герингом морально-политическая победа Димитрова была обеспечена. Но он одержал также полную победу и в юридической области. Он так основательно разделался с обвинением, что от него не осталось камня на камне — и эта победа была тесно связана с вопросом об истинных поджигателях, то есть с вопросом, имеющим величайшее политическое значение.

Димитров имеет привычку, присутствуя на заседаниях или совещаниях, иллюстрировать свои мысли чертежами. Сильной рукой он рисует крупными и уверенными линиями простые геометрические фигуры, сопровождая их пояснительными замечаниями. То же самое он делал и в Лейпциге, и один из таких его рисунков попал в руки иностранных журналистов.

Этот рисунок он озаглавил: «Чертов круг показаний свидетелей обвинения».

Внешний круг — это свидетели, специально подобранные обвинением так, что получалось замкнутое кольцо, которое должно было задушить обвиняемых. Внутренний круг — это большой вопросительный знак, вопрос об организаторах процесса и поджога рейхстага. Кто засел там, в центре чертова круга? Как зовут Мефистофеля, который находится в самой середине этого адского кольца? Кто держит в своих руках все нити этой системы лжи?

Рисунок напоминает схематическое изображение атома с его связями между атомным ядром и обращающимися вокруг него электронами. Воздействуя на атом значительными зарядами энергии, можно оторвать от него электроны и тем самым вызвать в нем нарушение равновесия. Но для того, чтобы расщепить атомное ядро, требуется колоссальный заряд, настоящий ураганный огонь лучистой энергии.

Димитров был воплощением такой энергии. Он не только прорвал внешний круг, но расщепил и само атомное ядро. Чертов круг не смог спасти Мефистофеля от приговора, вынесенного ему всемирным судом.

К своему рисунку «Чертов круг» Димитров приложил список свидетелей; в нем он с исключительной меткостью высмеял «объективность» судебного процесса. Этот маленький листок бумаги стоил больше, чем 235 страниц обвинительного заключения.

1. Главные свидетели:

Национал-социалистские депутаты: Карване, Фрай. Австрийский национал-социалист Кройер.

Национал-социалистские журналисты: майор Вебершtedт и д-р Дрешер (он же Иов Циммерман).

Национал-социалист: официант (агент тайной полиции) Гельмер.

Национал-социалисты: майор д-р Шредер и национал-социалистский депутат: д-р Рупин.

Члены Национальной партии Германии: журналисты Вилли Циммерман, Ланге, Панкнин.

Леберман (вор и морфинист).

Кунцак (вор).

Краузе (вор).

Вилле (фальшивомонетчик).

Кемпфер (вор).

Вейнбергер (взяточник).

Хинце (вор).

Гроте (психопат).

2. Заключение рабочие (22).

3. Чиновники уголовной полиции (8).

4. Чиновники уголовной полиции по политической части (и Гелер) (12).

5. Два судебных следователя: д-р Фогт, д-р Леше.

6. Ренегат каменщик Пауль Пукс и другие.

$$(11 + 8 + 22 + 8 + 12 + 2 + 2 = 65)$$

Наряду с геометрией чертова круга здесь была и дьявольская арифметика имперского суда, и обе формулы — как арифметическая, так и геометрическая — приводили к одному результату: у поджигателей рейхстага концы не сходились с концами. Конечно, для того чтобы дойти до этого вывода, нужны были ум и решимость Димитрова.

Нанося удар за ударом, действуя с величайшей проницательностью и поразительной точностью, Димитров прорвал чертов круг.

Вот выступают национал-социалистские депутаты Карване и Фрай и австрийский национал-социалист Кройер. Они показывают совершенно одинаково, ни на йоту не расходясь друг с другом, что во второй половине дня 27 февраля Торглер разговаривал в рейхстаге с Ван дер Люббе. Карване рисует эту встречу яркими красками: «Ван дер Люббе произвел на меня совершенно необычное впечатление; вид у него был неряшливый, лицо небритое, брюки слишком коротки, рукава чересчур длинны. Он произвел на меня жуткое впечатление». Собошники Карване копировали эту ужасную картину, а Фрай добавил еще, что он слышал, как Торглер «оживленно беседовал» с Поповым. Димитров задал ему лишь краткий вопрос: «На каком языке?» — и эти три слова произвели уничтожающее действие: Попов совершенно не говорит по-немецки, а Торглер не знает ни слова по-болгарски. Это произвело такой эффект, что даже Бюнгер при обосновании приговора предусмотрительно обошел молчанием эти свидетельские показания.

Следующими фигурами из «Чертова круга» были нацистские газетчики майор Веберштедт и доктор Дрешер. Они, как и наскоро подобранная тройка — Карване, Фрай, Кройер, — тоже выступали с одинаковыми показаниями. Веберштедт, руководитель службы печати национал-социалистской фракции рейхстага, присягнул в том, что видел 27 февраля Ван дер Люббе вместе с Таневым в рейхстаге, а его сотрудник доктор Дрешер поклялся, что видел Димитрова с Торглером. При этом его якобы словно что-то толкнуло, и он тотчас же узнал Димитрова. «Да ведь это тот поджигатель из Софии! Мне кажется, что у этого человека такое типичное и выразительное лицо, что смешать его с кем-нибудь невозможно». Кроме того, он был возмущен тем, что еще один

немецкий депутат рейхстага беседует с иностранцем. То, что это был иностранец, он заметил еще до того, как «узнал» его. По каким признакам он это определил? «По форме черепа, свойственной восточным людям», — брякнул этот достойный представитель избранной нордической расы.

О допросе обоих этих «людей чести» рассказывает уже неоднократно нами упомянутый Штейн-Румпельштильцхен: «Майор в отставке Веберштедт принадлежит к кругу людей со старыми понятиями о чести. Прежде он издавал «Фольксварте» Людендорфа. Теперь он является руководителем «Имперского союза за немецкую безопасность». До этого он был руководителем службы печати национал-социалистской фракции... Димитров спрашивает его, соответствует ли истине то, что он говорит. Веберштедт гневно обрушивается на него: «Старый прусский офицер, каковым я являюсь, не лжет!»»

Димитров быстро расправился с этими «туманными видениями», принадлежавшими к кругу людей «со старыми понятиями о чести». Он спросил Веберштедта, говорил ли тот о вопросах, связанных с их показаниями, со своим помощником Дрешером. Этот глупец прохрипел: «Разумеется». После этого Димитров заявляет: «Итак, Веберштедт и Дрешер обсуждали между собой это дело. Веберштедт видел Танева, Дрешер видел Димитрова. Рискают быть удаленным из зала суда, я ставлю следующий вопрос — ведь я выступаю в роли собственного защитника: «Не поделили ли свидетели между собой задачи?»» Бюнгер отклонил этот вопрос, но он был уже поставлен, и чертов круг был прорван еще в одном месте.

Точно так же Димитров своими язвительными насмешками вышиб из чертова круга инженера Богуна. Этот инженер (выступая в суде, он очень волновался) якобы видел своими собственными глазами, совершенно точно, — всякая ошибка исключена — слово чести истинного немца, — как Попов, насупив брови, стремительно выбежал из подъезда рейхстага сразу же после поджога; он был в светло-серых брюках, в темной шляпе с широкими полями. В ходе процесса шляпа становилась все светлее и светлее, а брюки — все темнее, так как Богун старался приблизить расцветку выдуманных им принадлежностей туалета Попова к расцветке костюма, кото-

рый он действительно носил. Наконец, Димитров засмеялся: «Немецкий инженер обычно точен, как математик. Каким же образом получается, что Богун через много месяцев после пожара знает, во что был одет Попов, лучше, чем в день пожара? Каким же образом получается, что светлые брюки у него претерпели метаморфозу, превратившись в темно-синие? Богун — это сочинитель романов, а не инженер». Таким образом, с «романом» Богуну было покончено.

После национал-социалистских депутатов, газетчиков, кельнеров и офицеров перед судом стали выступать воры, фальшивомонетчики и взломщики сейфов, давая показания в пользу гитлеровской Германии, против Димитрова. Господа из мира «старых понятий о чести» и свидетели из уголовного мира стояли друг друга. Познакомимся с некоторыми из этих участников чертова круга.

Вот уже отбывавший наказание вор Вилли Хинце. Перед зданием службы общественного призрения Нейкельна он завязал разговор с безработными и с Ван дер Люббе и изложил свои планы вооруженного восстания, грабежей и т. д. Оружие? Он его достанет без труда. Когда ему перед судом напоминают об этом разговоре, он отвечает: «По поручению полиции я, чтобы быть в курсе дела, немного поговорил с ними». Димитров спрашивает иронически: «Какому политическому направлению вы симпатизируете?» Этот профессиональный вор и провокатор гордо отвечает: «Я всегда отрицательно относился к левым партиям». Димитров говорит только: «Само собой разумеется!»

Вот бравый Леберман, вор и морфинист. Его приводят на заседание суда из тюрьмы. Он рассказывает, что еще в январе 1932 года Торглер предлагал ему поджечь рейхстаг и обещал за это 14 тысяч марок. Из тюрьмы этот «пробудившийся немец» писал своей жене: «Ты не представляешь себе, моя милая, чего стоила мне эта комедия. До чего я дошел...» Теперь он является свидетелем верховного прокурора вместе с Карване, Веберштадтом, Герингом. Димитров показывает всему миру, что все эти свидетели составляют одно «сплоченное сообщество заговорщиков». Он спрашивает: «Кто пригласил сюда этого свидетеля? Является ли он свидетелем прокуратуры?»

Бюнгер: «Я уже сказал: этот свидетель однажды, 13 октября, подал заявление в тюремное управление, после чего он был допрошен прокуратурой...»

Димитров: «Это я уже слышал».

Бюнгер: «После этого было предложено вызвать его в качестве свидетеля».

Димитров: «Кем?»

Бюнгер: «Прокуратурой. Но я вам сразу скажу: не занимайтесь критическими придирадками, которые совершенно бесполезны...»

Димитров: «Я и не стремлюсь к этому. Но мне хотелось бы только, председатель и судьи, заметить, что круг свидетелей (главных свидетелей) прокуратуры против нас, обвиняемых коммунистов, сегодня этим свидетелем замкнулся. Этот круг открылся депутатами рейхстага от национал-социалистской партии, национал-социалистскими журналистами и замкнулся ворами».

«Чертов круг» очерчен с беспощадной точностью. И прорван.

На следующий день «Фелькишер беобахтер» проявила признаки крайнего недовольства. Она была вне себя от ярости, ведь Бюнгер не протестовал против слов Димитрова о замкнутом круге из национал-социалистских депутатов, журналистов и преступников. Перед началом следующего заседания Бюнгер извиняется: он прослушал это замечание Димитрова и теперь он делает ему предупреждение. На это Димитров замечает: «Теперь «Фелькишер беобахтер» может быть довольна!» Его удаляют с заседания, но чертов круг уже распался на части.

Проходит два дня. В дело вынужден вмешаться Геринг — этот большой вопросительный знак, занявший место в самом центре внутреннего круга.

Каковы были его успехи, известно...

Взрыв чертова круга был для Димитрова только частью его задачи. Он хотел расщепить само атомное ядро процесса. Уже 12 октября он писал Бюнгеру:

«Я твердо убежден, что в этом процессе Ван дер Люббе является лишь, так сказать, *Фаустом в деле поджога рейхстага*, за спиной которого, несомненно, стоял *Мефистофель поджога рейхстага*. Жалкий *Фауст* сейчас стоит перед Имперским судом, а *Мефистофель* исчез».

Мы знаем, перед какой дилеммой стоял имперский суд. Димитров выразил ее в следующих словах: «Трудная задача суда: чтобы волк был сыт и овца цела. Приговор является неудачной попыткой решения этой неразрешимой задачи». В отличие от Гитлера, которому для его политических целей нужен «большевистский мировой заговор», Бюнгер при всем своем желании может судебным порядком подтвердить виновность лишь одного Ван дер Люббе, да к тому же еще должен все время опасаться, как бы вопрос о соучастниках преступления внезапно не натолкнул суд на верные следы. Поэтому он и решил ни в коем случае не уклоняться от той узенькой дорожки, по которой Ван дер Люббе, беспомощный и одинокий, идет навстречу смертному приговору.

Димитров с самого начала борется против тезиса, что Ван дер Люббе совершил свое преступление один. Он не мог в одиночку ни разработать план преступления, ни провести его в жизнь. Он был только орудием, а где другие? Где его помощники и где прежде всего Мефистофель? И перед этой его непреклонной решимостью дрожат остальные обвиняемые, но еще больше дрожат истинные виновники.

Имеется еще и второй чертов круг, пленником которого является несчастный Ван дер Люббе. С жестокой издевкой Геринг говорит перед судом: «Иностранец Люббе, который не мог хорошо ориентироваться в рейхстаге, не нашел из него выхода, он метался туда и сюда, как испуганный еж». Но он не нашел никакого выхода не только из рейхстага. Теперь его бедный больной мозг не находит никакого выхода из заколдованного круга, очерченного вокруг него с помощью яда и лжи.

Димитров вновь и вновь, используя все свои силы и все свое терпение, делает попытки освободить его, встряхнуть. Дважды, совершенно неожиданно, Ван дер Люббе обронил несколько слов о «других» — сначала перед следователем, затем во время самого судебного процесса. Юристы поспешили замять это замечание, нить оборвалась и затерялась. Димитров борется за то, чтобы пробудить к жизни дух этого потрясенного, погибшего человека. Он развивает перед судом свою точку зрения: «Ван дер Люббе был простой, довольно хороший парень. Он был каменщиком, странствовал, ездил, и после этого он совершил это преступление. Тут могут быть только

два предположения: либо Ван дер Люббе — безумец, либо он нормальный человек. И если он нормальный и молчит, то молчит подавленный чудовищным бременем преступления против рабочего класса». Таково первое побуждение Димитрова: перед ним рабочий, которого ввели в заблуждение, но в нем должны сохраниться остатки пролетарской совести. Он хочет разбудить ее: зачем и вместе с кем он совершил это чудовищное преступление против рабочего класса Германии?.. Бюнгер прерывает его: «Я отклоняю ваши вопросы... Он совершил это один, а причины он частью указал, частью нет. Хватит, довольно вопросов». Но Димитров не сдается. В ходе процесса он вновь и вновь все настойчивее вызывает к совести этого несчастного, которого использовали для совершения преступления. Все напрасно: фашистский яд, в прямом и переносном смысле слова, уничтожил в нем все, что было человеческого. И эта ужасная процедура будет позднее повторяться с миллионами и миллионами людей.

Ван дер Люббе прислушивается к другому голосу, а не к человеческому голосу Димитрова. В качестве свидетеля допрашивают руководителя берлинских штурмовиков Гельдорфа. Наглый, открыто презирающий всякие «ложные» понятия о праве, стоит этот прусский граф перед судом. Да, в ночь пожара он распорядился произвести массовые аресты без официального предписания свыше. Да, он действовал не как вновь назначенный полицей-президент Потсдама, а как руководитель берлинских штурмовиков. (Геринг, которого допрашивали позднее, отрицает это, подчеркивая, что приказ исходил от него, а Гельдорф его только выполнил.) Ван дер Люббе просят посмотреть на графа, узнает ли он его? Но Ван дер Люббе остается ко всему безучастным, его голова тяжело клонится вниз.

Бюнгер: «Подсудимый Ван дер Люббе, выйдите вперед. Поднимите голову, Люббе, и посмотрите свидетелю в лицо. Поднимите же голову, Люббе, живее. Взгляните же на свидетеля!»

Переводчик: «Вы должны посмотреть на свидетеля, Ван дер Люббе».

Бюнгер: «Поднимите же голову!»

Защитник Зейферт: «Поднимите голову, Люббе!»

Переводчик: «Вы должны взглянуть на свидетеля. Поднимите голову!»

Бюнгер: «Так поднимите же, наконец, голову. Голову вверх, Ван дер Люббе!»

Голову вверх? Это звучит, как: «голову долой!»

Ни один голос не проникает в затемненное сознание. Тогда у графа на лбу вздуваются жилы и он хрипло командует подсудимому: «Эй, ты, подними голову вверх, живо!»

Дальнейшее обозреватель Штейн-Румпельштильцхен описывает в следующих словах: «Это язык, который Ван дер Люббе понимает, он оказывает свое действие. На наших глазах происходит великое чудо: Ван дер Люббе моментально выпрямляется и поднимает голову. Он прямо и открыто смотрит на графа и говорит громко и внятно: «Нет!» Зрители как будто сбросили с себя какую-то тяжесть; они сияют, вот-вот готовы громко закричать «браво!» Тихо переговариваются: «Этот Гельддорф, он просто великолепен»».

Да, этот голос Ван дер Люббе знает. Воспоминания о нем хранятся где-то в его памяти. На несколько секунд сознание возвращается к нему. Как в старинной германской саге: если убийца приближается к труп, раны убитого открываются. Один иностранный обозреватель замечает: это символ «пробуждения Германии».

Но Ван дер Люббе не способен удержать мгновение прояснения своего сознания. В его больном, отравленном ядом мозгу все исчезает и расплывается. Даже пламенная энергия Димитрова не может остановить этот процесс полного распада.

Димитров старается теперь добиться своих целей косвенным путем. Где был Люббе до той ночи, когда произошел пожар? Среди прочих мест был назван Геннингсдорф. Суд, кажется, нисколько не интересуется этим вопросом. Наоборот, этот след стараются замести. Но у Димитрова уже есть точка опоры, он ее не оставляет. Упорно и неумолимо он требует ответа: что понадобилось Люббе 26 февраля в Геннингсдорфе? Ведь это предместье Берлина, расположенное вблизи от Шпандау, является бастионом национал-социалистской партии. Ван дер Люббе переночевал там в ночлежке и разговаривал с двумя неизвестными. Что это были за люди? Почему их не разыскали, не вызвали на суд? И этого не

сделали даже несмотря на то, что Ван дер Люббе на предварительном следствии якобы утверждал, что мысль поджечь рейхстаг пришла ему в голову как раз на обратном пути из Геннингсдорфа в Берлин. Димитров задает вопрос свидетелю Герингу, шефу прусской полиции: «Я спрашиваю: что сделал г-н министр внутренних дел 28 и 29 февраля или в последующие дни для того, чтобы в порядке полицейского расследования выяснить путь Ван дер Люббе из Берлина в Геннингсдорф, его пребывание в ночлежном доме в Геннингсдорфе, его знакомство там с двумя другими людьми и таким образом разыскать его истинных сообщников? Что сделала ваша полиция?» Геринг отвечает уклончиво: «Само собой разумеется, что мне, как министру, не за чем было бегать по следам, как сыщику. Для этого у меня есть полиция». Но в том-то и дело, что эта полиция, полиция Геринга, ничего не сделала для того, чтобы выяснить обстоятельства, связанные с пребыванием Люббе в Геннингсдорфе.

Димитров все глубже исследует этот комплекс вопросов. «Там, в Геннингсдорфе, была установлена связь между Ван дер Люббе и организаторами поджога рейхстага!» В конце концов он добивается вызова судом свидетелей из Геннингсдорфа. 13 ноября допрашивается парикмахер Граве, с которым Ван дер Люббе встречался в Геннингсдорфе. Димитров спрашивает его без обиняков: «Был ли свидетель Граве уже тогда национал-социалистом?» И Граве отвечает: «Я всегда был правым». В этот день Ван дер Люббе ведет себя более оживленно, в его больном мозгу возникает какое-то слабое воспоминание. Граве он, правда, не может вспомнить, но... Бюнгер спрашивает его: «Так, где же вы все-таки были?» И Люббе отвечает отчетливо и твердо: «У нацистов!»

В зале мертвая тишина. Бюнгер растерянно уставился на подсудимого. Следовательно, Димитров опять был прав, делая упор на «геннингсдорфский комплекс». Что же теперь делать? Нужно во что бы то ни стало разрушить мост, который здесь возник, запутать этого жалкого Ван дер Люббе ураганным огнем вопросов. Этот огонь производит свое действие. Спустя несколько минут Ван дер Люббе уже отвечает на поставленный ему угрожающим тоном вопрос о том, у кого же он был в действительности, со своей прежней апатией: «Ни у

кого». Он снова понемногу уходит в себя, отвечает односложно, что он принимал участие в нацистском собрании в Шарлоттенбурге, беседовал там с каким-то юношей и, между прочим, слышал, как оратор на трибуне говорил о рейхстаге. Еще раз Люббе оживляется, когда Димитров спрашивает его, не видел ли он национал-социалистов также и в Геннингсдорфе. Он кивает головой и смеется: «Да, в Геннингсдорфе было довольно-таки много национал-социалистов... Я видел их там в форме». Затем тонкая нить его сознания обрывается. Димитров хочет удержать ее: «Верно ли, что он не случайно ночевал 26 февраля в Геннингсдорфе?» Бюнгер тотчас же его прерывает: «Не задавайте наводящих вопросов. Это наводящий вопрос. Обвиняемый Ван дер Люббе, почему вы ночевали в Геннингсдорфе? Почему вы поехали туда и ночевали там?». Ван дер Люббе сотрясается каким-то загадочным смехом: «Потому что я мог там хорошо выспаться». Затем он молчит.

И еще раз, 23 ноября, Ван дер Люббе прерывает свое молчание,— подобно утопающему, который в последний раз появляется на поверхности, прежде чем опуститься на дно. Это отчаянная, трагическая борьба обманутого, отравленного человека, которого сделали орудием задуманного преступления: «Было уже три процесса, сначала в Лейпциге, потом в Берлине и теперь снова в Лейпциге. Я хотел бы знать, когда приговор будет вынесен и приведен в исполнение... Я поджег рейхстаг, но то, что еще к этому добавили, это что-то совершенно другое... Это тянется уже восемь месяцев, и я со всем этим совершенно несогласен... Я один, используя свою куртку, поджег зал пленарных заседаний. Это было совсем просто. Но то, что тут происходит кругом, это что-то совершенно другое... Вопрос о виновности — это совершенно другой вопрос, с этим я никак не могу согласиться...»

И затем, отвечая на вопрос, действительно ли он один устроил в зале пленарных заседаний многочисленные очаги пожара, Люббе говорит: «Этого я никогда не утверждал!»

Бюнгер: «Так кто же тогда это сделал?»

Ван дер Люббе: «Этого я не могу сказать. Должно быть, другие...»

Бюнгер прерывает его, быстро задав несколько вопросов, и внезапно Ван дер Люббе, задышавшись, издает

крик о помощи, вопль жалкого, замученного создания: «Я не могу больше! Все, что здесь происходит,— это предательство по отношению к человеку!.. Я требую для меня приговора!.. Я не могу больше. Я не хочу есть ежедневно по пять-шесть раз и еще отвечать на вопросы, нравится ли мне это... Я не могу продолжать эту борьбу в тюрьме!»

Прежде чем Димитрову удастся поставить свои вопросы, поспешно объявляется перерыв. После перерыва Ван дер Люббе,— снова сонный, утомленный, ко всему безучастный. Ему снова дали поесть. Блюдо, которое ему подали, произвело свое действие. Вопросы Димитрова падают в пустоту, не вызывая никакого отклика. Ван дер Люббе как будто прислушивается к чему-то в себе, что-то бормочет о «голосах в своем теле». Скополамин — страшный яд. Все, что удастся вытянуть из подсудимого,— это какая-то несвязная тарабарщина: «Я показал то, что я сказал. Я сказал все то, что можно было бы здесь услышать снова».

Ван дер Люббе, бывший орудием в чужих руках, окончательно сломлен. Однако Димитров благодаря своей проницательности и настойчивости открыл очень важные следы контакта между Берлином и Геннингсдорфом. Через большую образовавшуюся в обвинении брешь проникает светлый луч истины, разрушающий все хитросплетения, созданные полицией и прокуратурой.

В своей заключительной речи перед судом Димитров так резюмировал свои выводы:

«Вопрос о Геннингсдорфе чрезвычайно важен. Ночевавший с Ван дер Люббе Вашинский не был найден. Мое предложение разыскать его было признано бессмысленным... Если бы Ван дер Люббе был в Геннингсдорфе с коммунистами, это было бы давно расследовано. Господин председатель, никто не интересовался тем, чтобы разыскать Вашинского.

Лицо в штатском, явившееся в Бранденбургский участок с первым сообщением о пожаре в рейхстаге, не разыскивалось, осталось до сего дня не выясненным. Следствие проводилось в ложном направлении. Национал-социалистский депутат д-р Альбрехт, покинувший рейхстаг непосредственно после пожара, не был допрошен. Поджигателей искали не там, где они были, а там, где их не было. Их искали в рядах Компартии, и это было

неправильно. Это дало истинным поджигателям возможность исчезнуть. Решили: раз не схватили и не посмели схватить истинных виновников поджога, то надо схватить других, так сказать, эрзац-поджигателей рейхстага...»

И наконец, Димитров был первым, кто поставил вопрос: «Не могло ли быть так, что поджигатели пришли в рейхстаг по подземному ходу?» Бюнгер отклонил этот вопрос, но Димитрова он этим не смутил. Правда, на те дни, когда допрашивались важнейшие свидетели по вопросу о подземном ходе, он был удален с заседаний суда, но и этой мерой Бюнгеру не удалось задержать лавину, которая уже пришла в движение. После возвращения в зал заседаний суда Димитров своими вопросами точно установил, что командир эсэсовцев из личной охраны Геринга Вальтер Вебер первый осматривал подземный ход в ночь пожара.

Димитров: «Находился ли свидетель во время пожара в рейхстаге на государственной службе?»

Вебер: «Я вообще не нахожусь на государственной службе, а занят на службе лично у премьер-министра».

Димитров: «Следовательно, вы обыскивали подземный ход не как государственный чиновник?»

Вебер: «Нет, как командир эсэсовской команды премьер-министра Геринга».

Лавина катится дальше, и Геринг, выступая в качестве свидетеля, сам был столь неосмотрительным, что выболтал правду: «Другие давно уже ускользнули, и я знаю даже каким образом. Я убежден, что они воспользовались подземным ходом. Он ведет к машинному отделению. Оттуда можно без всякого труда через стену перебраться на берег Шпрее».

Димитров, который бесстрашно разделался с гипотезой юристов, согласно которой Ван дер Люббе мог произвести поджог один, нашел в этом желанную поддержку со стороны экспертов. Начальник пожарной охраны инженер Вагнер заявил: «Один человек не мог произвести поджог. Либо для подготовки поджога требовалось более длительное время, либо при этом действовало несколько человек; по-видимому, имело место и то, и другое...»

Судебный эксперт — химик д-р Шац заявил: «Я твердо убежден, что в пленарном зале поджог был произве-

ден с применением одного вида самовоспламеняющейся жидкости, которую я не хочу назвать... Люббе один не мог совершить этого поджога. О его поведении у меня имеется свое собственное мнение. Я держусь также своего особого мнения и о некоторых других обстоятельствах... Уже тогда, когда Ван дер Люббе еще только стремился проникнуть в рейхстаг, он уже, вероятно, знал, что в этом помещении разыгрываются и другие события и что он своим странным поведением должен только навлечь на себя обвинение».

Димитров: «Если я правильно понимаю ваши весьма интересные объяснения, люди, которые воспользовались этой зажигательной жидкостью, владеют известными техническими навыками?»

Шац: «Люди, которые занимаются этим делом, понимают в нем».

Люди, которые занимались этим делом и, имея в виду подготавливаемую ими войну, экспериментировали с подобными зажигательными жидкостями, сидели в министерстве рейхсвера и в министерстве воздушного флота.

Специалист по теплотехнике профессор Иоссе так излагал свою точку зрения: «Помещение зала пленарных заседаний размером свыше 10 тысяч кубометров никак нельзя было поджечь только с помощью факела. Для этого непременно должны были использовать жидкое горючее. Совершенно исключена возможность того, что Ван дер Люббе один устроил пожар... Ван дер Люббе, может быть, и один совершил поджог в зале пленарных заседаний, но безусловно не один подготовил это. По крайней мере еще один поджигатель участвовал в этих приготовлениях. Ведь необходимо минимум 20 килограмм жидкого горючего (вероятно, керосин или бензол), а, может быть, и 40!..»

Димитров: «Я рад тому, что и эксперты не верят, будто Ван дер Люббе поджигал один. Это единственный пункт обвинительного акта, с которым я всецело согласен. Но я пойду еще дальше. На мой взгляд, Ван дер Люббе в этом процессе является лишь, так сказать, Фаустом в деле о поджоге рейхстага. Этот жалкий Фауст стоит перед судом, но Мефистофеля поджога здесь нет...»

И затем: «Пусть этот жалкий Фауст назовет имя своего Мефистофеля!..»

И позднее, на одном из последующих заседаний суда, 13 ноября: «...не обстояло ли дело о поджоге таким образом, что Ван дер Люббе говорил с кем-нибудь об акте протеста против системы, против общественного строя и т. п.? Таким актом протеста должен был бы явиться поджог рейхстага. Затем Ван дер Люббе пробрался в рейхстаг и совершил поджог. Но тем временем тот «другой» иным путем проник в зал пленарных заседаний и другими средствами подготовил, может быть, сам совершил поджог рейхстага. Если дело обстоит таким образом, то Ван дер Люббе может и не знать лично других людей... Я хочу спросить его через вас, г-н председатель, не было ли такого случая, не был ли Люббе орудием, которым злоупотребили?»

И еще раз в своей большой заключительной речи:

«26 февраля Ван дер Люббе наверняка встретил в Геннингсдорфе одного человека и рассказал ему о своих попытках поджога в ратуше и дворце. Этот человек сказал ему, что все эти поджоги — лишь «детские игрушки». Действительным делом был бы поджог рейхстага во время выборов. Таким образом, из тайного союза между политическим безумием и политической провокацией возник поджог рейхстага. Союзник со стороны политического безумия сидит на скамье подсудимых. Союзники со стороны политической провокации остались на свободе. Глупый Ван дер Люббе не мог знать, что, когда он делал свои неловкие попытки поджога в ресторане, в коридоре и в нижнем этаже, в это же самое время неизвестные, применив горючую жидкость, о которой говорил доктор Шац, совершили поджог пленарного зала».

В это время разыгралась жуткая сцена: Ван дер Люббе весь затрясся от беззвучного смеха. Все его тело подергивалось. Что так подействовало на его больные нервы: истина ли, которую он вдруг почувствовал, ужасное воспоминание или страшное сознание того, что его обманули? Димитров указал рукой на смеющегося безумным смехом Ван дер Люббе.

В точности так никогда и не было установлено, когда и где мекфистофели-поджигатели привлекли жалкого Фауста к исполнению своих планов. Но благодаря своей проницательности Димитров, несомненно, приблизился к истине вплотную. И его выводы обладали такой непреодолимой силой убеждения, что ей поддались даже судьи.

Старания Бюнгера свалить все на Ван дер Люббе не увенчались успехом и даже в обосновании приговора было отмечено: «Обвиняемый действовал вместе с другими, возможно, немногими лицами... Обвиняемый никак не мог, наряду со своими прочими действиями и за то время, которое он имел в своем распоряжении, осуществить подготовку к поджогу здания. Сенат убежден, что эта задача из-за ее сложности и большого объема вообще не могла быть выполнена одним человеком, а лишь во взаимодействии с другими...» После описания нелепых действий Ван дер Люббе, который носился по всему зданию, как призрак, в обосновании приговора далее говорилось, что все это могло «иметь только одну цель — с самого начала навлечь на себя подозрение в совершении всего преступления полностью и одновременно отвлечь пожарных и полицию от зала пленарных заседаний, а также затруднить и задержать их проникновение в этот зал...»

Кто были эти «другие», на это судьи не могли и не смели даже намекнуть, не говоря уж о том, чтобы их назвать. Большой вопросительный знак, который Димитров изобразил внутри «Чертова круга», — вот за что суд цеплялся изо всех сил, вот что в любом случае должно было сохраниться, несмотря на провал процесса. Но за знаком вопроса стоял еще восклицательный знак Димитрова. И он был поставлен уверенно и прочно.

Димитров взорвал «Чертов круг».

Он открыл, что Ван дер Люббе в Геннингсдорфе был «у нацистов» и что немецкие власти сделали все возможное для того, чтобы скрыть это обстоятельство.

Он прошел через все запутанные, как лабиринт, подземные ходы гитлеровской юстиции и дошел до самого центра круга.

Бесстрашный Тезей греческой саги нашел в центре лабиринта кровавого Минотавра, человеко-быка, полуживотное-получеловека.

Димитров перед лицом всего мира указал на него, на виновника, на поджигателя, на скота в образе человека.

В центре Европы — минотавр германского фашизма! Мир был предупрежден.

ПОБЕДА

«Я здесь не должник, а кредитор!» — сказал Димитров 31 октября перед имперским судом.

А через месяц, 28 ноября: «Мы находимся на политическом процессе. Поэтому должны быть до конца уяснены политическая подоплека и политический характер вопроса. Они хотели политического процесса, пусть им будет политический процесс, но уж до конца: «Коль война, так по-военному! Делать, так уж делать. Все или ничего!»»

Новые политические хозяева Германии, нацистские фюреры, считали себя большими политиками не только потому, что были грубее, циничнее и еще более лишенными чувства ответственности, чем их предшественники, но прежде всего потому, что они открыли новое чудодейственное средство: пропаганду. Целям этой низкой пропаганды должен был также послужить и процесс о поджоге рейхстага. Однако он превратился в небывалой важности подлинно политический процесс благодаря особой политической страстности Димитрова.

Это было для немецких властителей совершенно неожиданным. Своих противников в самой Германии они оценивали в общем и целом правильно; на этом тоже частично и основывались их успехи. Эти успехи ударили им в голову, и они стали считать, что и в мировом масштабе

они смогут осуществить то же, что им удастся делать внутри Германии. Они даже не подозревали о существовании такой политической силы, которую олицетворял собою Димитров; это был совершенно иной мир, который они не понимали и никогда так и не научились понимать. Для организаторов процесса о поджоге рейхстага политика — это большая ложь, а для Димитрова она — большая правда. И, как неумолимый кредитор, правда — юридическая, политическая и историческая — противопоставляется в этом процессе той дьявольской нечистой страпне, которой, как идолу, носящему имя «пропаганда», поклоняются мастера из кухни ведьм — НСДАП. В своей заключительной речи Димитров решительно раздвывается с этой недостойной «пропагандой».

«Я допускаю, что я говорю языком резким и суровым. Моя борьба и моя жизнь тоже были резкими и суровыми. Но мой язык — язык откровенный и искренний. Я имею обыкновение называть вещи своими именами. Я не адвокат, который по обязанности защищает здесь своего подзащитного.

Я защищаю себя самого как обвиняемый коммунист.

Я защищаю свою собственную коммунистическую революционную честь.

Я защищаю свои идеи, свои коммунистические убеждения.

Я защищаю смысл и содержание своей жизни.

Поэтому каждое произнесенное мною перед судом слово — это, так сказать, кровь от крови и плоть от плоти моей. Каждое слово — выражение моего глубочайшего возмущения против несправедливого обвинения, против того факта, что такое антикоммунистическое преступление приписывается коммунистам».

Это был голос самой правды. Она неудержимо прокладывала себе путь. Впервые до сознания людей, сбитых с толку и потерявших мужество вследствие дешевых успехов Гитлера, снова дошло то, что правда сильнее всякой пропаганды, что насилие и обман не совпадают с понятием политики, как это представляют себе кровавые дилетанты, засевшие в германской имперской канцелярии.

Политическая правда, которую защищал в Лейпциге Димитров, используя всю силу своей могучей личности и своих убеждений, имела в себе три аспекта.

Первый: коммунисты не поджигали рейхстага. Они не могли совершить это преступление, так как оно совершенно противоречит их политическим принципам. Коммунисты — не поджигатели, не заговорщики, не авантюристы. Они не играют судьбами классов и народов, они могут совершать ошибки, но они не могут «официально говорить миллионам своих сторонников одно, а в то же время тайно делать противоположное» (заключительная речь Димитрова).

Второй: только враги коммунизма, враги рабочего класса были заинтересованы в поджоге рейхстага. Гитлеровской партии нужно было такое преступление, такая провокация для того, чтобы уничтожить свободу не только рабочих, но и всего немецкого народа, чтобы задушить своих собственных союзников из немецкой национальной народной партии, чтобы предстать перед мировой реакцией как «бастион против большевизма» и тем самым добиться ее молчаливого согласия на проведение своих подготовительных мероприятий к войне.

Третий: у рабочего класса и у всех свободолюбивых людей имеется реальная возможность задержать продвижение фашизма, разгромить его и тем самым предотвратить ужасное несчастье. Для того чтобы достичь этого, нужно пойти по новым политическим путям, объединить против смертельного врага все силы, выправить и преодолеть серьезные и тяжелые ошибки, допущенные в прошлом.

Теперь, когда имеешь перед глазами все, что произошло за последующие десять лет, может показаться, что все это просто и чуть ли не само собой разумеющееся. Тогда же для того чтобы распознать и выполнить эту задачу, нужны были выдающаяся смелость и недюжинный ум Димитрова, полная мобилизация всех духовных и физических сил этого великого человека. Димитров не только стоял перед судом своего смертельного врага, которого он осмелился обвинить перед лицом всего мира и к решительной борьбе против которого он смело призывал. Он должен был не только разрушить искусно построенное здание антикоммунистических предрассудков. Задача заключалась еще и в том, чтобы ободрить всех антифашистов, укрепить в их сознании принципиально правильную точку зрения и одновременно в позитивной и указывающей правильное направление форме дать кри-

тику некоторых ошибок и упущений. И все это не в ходе беседы между антифашистами, а стоя лицом к лицу с фашистами, своими смертельными врагами, выступая в качестве обвиняемого коммуниста на процессе, за которым, затаив дыхание, следит вся мировая общественность.

Нацистские вожди прокричали на весь мир, что поджог рейхстага — это сигнал к «коммунистическому перевороту», к вооруженному восстанию, к «большевистской революции». Гитлер уже перед самым началом процесса обещал «сенсационные разоблачения». Но многократно обещанный материал из «Дома Карла Либкнехта» не был предъявлен также и в Лейпциге. Прокуратуре пришлось прибегнуть к помощи других «доказательств», к столь характерному для гитлеровской Германии «эрзацу». В качестве свидетелей были представлены национал-социалистские полицейские чиновники, выступавшие с бесконечно длинными сообщениями о коммунистической деятельности; чем меньше у них было конкретных фактов, тем больше они говорили. Затем были допрошены уголовные преступники, полицейские шпики и провокаторы. И наконец, в суд доставили арестованных, истерзанных палачами рабочих из концентрационного лагеря, рассчитывая у них вырвать показания против коммунистической партии.

Димитров строил свою систему доказательств для опровержения весьма обширного, но бедного содержанием материала обвинения таким образом, что отбрасывал все несущественное, делая упор на главном. Если поджог рейхстага действительно должен был стать сигналом к «большевистской революции», тогда, по крайней мере в каком-нибудь уголке страны, должны были иметь место якобы подготовленные коммунистами выступления. Были ли где-нибудь хотя бы какие-то столь драматично возведенные Гитлером и Герингом выступления, поджоги, взрывы, вооруженные восстания и т. д.? Нет, абсолютно ничего подобного не было. Впрочем, кое-кто из полицейских чиновников вспомнил, что позднее было еще несколько поджогов. Об этих поджогах Димитров говорил в своем заключительном слове, поставив этим суд в крайне затруднительное положение:

«Полицейский чиновник Гелер говорил здесь о коммунистической пропаганде посредством поджогов и т. д.

Я спросил его, не известны ли ему случаи, когда поджоги, которые производились предпринимателями, потом приписывались коммунистам. В «Фелькишер беобахтер» от 5 октября написано, что штеттинская полиция...»

«Бю н г е р: «Не смейте здесь об этом говорить, раз об этом не упоминалось на процессе!»

Д и м и т р о в (неоднократно прерываемый возбужденным председателем): «Это было предметом следствия, потому что целый ряд поджогов здесь был вменен в вину коммунистам. Потом было выяснено, что это сделали предприниматели «в целях предоставления работы»!»

Это и было в своей самой простой и первоначальной форме гитлеровское «предоставление работы». Отдельные предприниматели подожгли несколько предприятий, а Гитлер поджег всю Европу.

Следовательно, Димитров имел возможность в своей заключительной речи твердо заявить:

«Пожар рейхстага не находится ни в какой связи с деятельностью Компартии — не только с восстанием, но и с демонстрацией, со стачкой или с другим выступлением подобного рода. Это вполне доказано судебным следствием... Никто не замечал в связи с пожаром рейхстага каких-либо действий, актов, попыток к восстанию. Никто ничего об этом тогда не слышал. Все рассказы в этом направлении относятся к гораздо более позднему периоду».

Это был его первый убийственный по своей силе аргумент. Однако Димитров пошел еще дальше. Он обратился к следующему вопросу: опасался ли кто-нибудь в правящих кругах Германии вооруженного восстания коммунистов? Были ли предприняты против этого какие-либо предупредительные меры? Ни один из нацистских свидетелей не мог ответить на этот вопрос утвердительно. Так, например, советник по уголовным делам Гелер, специалист прусской полиции по борьбе с коммунизмом, выступил в суде со специальным докладом на эту тему, занявшим целый час. Димитров спросил его: «Верно ли, господин докладчик, что из множества документов, собранных со всех концов Германии, вы не располагаете в данный момент ни одним, который показал бы, что правительство ожидало между 20 февраля и концом февраля вооруженного восстания, организуемого компартией, и в связи с этим привело в боевую готовность во-

оруженные силы государства... Или, может быть, господин советник полиции Гелер, у вас есть такой документ?»

Гелер: «Такой документ я не оглашал. У меня его нет, да он и не нужен».

Димитров: «Есть у вас вообще такие документы?»

Гелер: «На это я не могу здесь ответить... Этого я не знаю...»

Наиболее показательным был ответ д-ра Геббельса на этот вопрос Димитрова. Он сказал: «Господин Димитров, как видно, считает коммунистическую опасность у нас слишком большой и серьезной, если он думает, что для борьбы с нею пришлось бы применить военную силу. Чтобы в одно мгновение уничтожить коммунистическую опасность, вполне достаточно использовать отряды СА, СС и полицию». В своем неукротимом стремлении похвастаться заведующий отделом пропаганды германской национал-социалистской партии щегольнул этими неосторожными словами и тем самым заклеил свою собственную пропаганду как сплошную «большую ложь». Ведь основным базисом этой пропаганды и являлось утверждение, что Германия стоит на пороге коммунистической революции, что весь старый государственный аппарат слишком слаб, чтобы задержать «большевистскую лавину», что только концентрация всей власти в руках Гитлера даст возможность спасти Германию от этого «хаоса». Ведь именно Гитлер, Геринг и Геббельс, как потревоженные обезьяны-ревуны, постоянно вопили, что только их «беспощадные, молниеносные действия» не дали Германии «погибнуть в водовороте коммунизма» и спасли Европу от превращения в груды развалин и что, к сожалению, никто, кроме них, не понимает до конца, как велика эта опасность. И вот, спустя несколько месяцев Геббельс, выступая перед имперским судом, снисходительно улыбается: коммунистическая опасность? Мы об этом ничего не знали. Мы могли бы устранить ее в один миг — силами одних только наших штурмовиков и эсэсовцев. Это было, конечно, хвастовство, но оно отражало действительную оценку ситуации нацистскими фюрерами и их хозяевами. Они знали, что Германии вовсе не угрожал «большевистский переворот». Но им было нужно это пугало для того, чтобы произвести свой собственный переворот, чтобы установить свою террористическую тоталитарную военную диктатуру.

Это был второй могучий аргумент Димитрова. А затем в своей заключительной речи Димитров сказал: «Вчера здесь об этом говорил и адвокат Зейферт. Он сделал вывод, что никто в правящих кругах не ожидал в тот момент восстания...

В этом отношении доказательством является также и чрезвычайный декрет германского правительства от 28 февраля 1933 г... Там указано, что отменяются такие-то и такие-то статьи конституции, а именно: статьи о свободе организаций, свободе печати, неприкосновенности личности, неприкосновенности жилища и т. д. В этом сущность чрезвычайного декрета, его второго параграфа: поход против рабочего класса...»

Б ю н г е р (прерывает Димитрова): «Не против рабочего класса, а против коммунистов».

Д и м и т р о в: «Я должен сказать, что на основе этого чрезвычайного декрета арестовывались не только коммунисты, но и социал-демократические и христианские рабочие и распускались их организации. Я хотел бы подчеркнуть, что этот чрезвычайный декрет был направлен не только против Коммунистической партии Германии — хотя, конечно, прежде всего против нее, — но и против других оппозиционных партий и групп».

Это был третий неоспоримый аргумент. Если бы германские властители действительно боялись коммунистического переворота, они позаботились бы о том, чтобы объединиться со всеми партиями и группами, которые отрицательно относятся к коммунизму. Они же делали все наоборот: «коммунистическая опасность» была для них лишь предлогом для того, чтобы разгромить все партии и организации, уничтожить все, что, хотя бы в отдаленной степени, было связано с демократией.

Вся аргументация Димитрова была предупреждением свободолюбивым народам: не давайте обмануть себя воплями против коммунизма. Вспомните, что вы увидели в ярком свете горящего рейхстага, вдумайтесь в последствия этого пожара и вы поймете, что речь идет о защите самых элементарных прав и свобод человека против заговора палачей. Они куют оружие — против кого? Они собирают войска — против кого? Они замышляют недоброе — против кого? Они отвечают: против коммунистов, только против коммунистов. Не верьте им! Они хотят власти — только для себя, власти тотальной, ничем не

ограниченной. Они хотят завоевать мир и ограбить все народы, обратив их в рабство. Вы все — «коммунисты», которым они готовят смерть и гибель. Таков важнейший урок, вытекающий из пожара в рейхстаге.

И здесь Димитров перешел ко второму основному пункту своей политической аргументации. Кто был заинтересован в поджоге рейхстага? Кому он был нужен? Кому он пошел на пользу? Требовалось величайшее мужество для того, чтобы, будучи заключенным, обвиняемым в гитлеровской Германии, поставить этот вопрос и ответить на него. У Димитрова такое мужество нашлось. И точно так же, как его отвага, удивления и восхищения заслуживает та мудрость, с которой он сконцентрировал всю свою аргументацию против подлинных виновников и предоставил мировой общественности возможность самой назвать их по именам.

Неустанно, доходя до пределов возможного, расспрашивал Димитров политических свидетелей о разногласиях в лагере «национального правительства». Геббельс, давая показания, пытался лишить этот вопрос его остроты, заявляя с развязностью избалованного мальчишки, играющего роль важного дядюшки:

«Это же просто абсурд — предположить, что внутри кабинета, состоящего из людей чести, одни могут обвинять других в том, что они подожгли рейхстаг. Чистейшим абсурдом является мысль, что в правительстве, управляющем шестидесятимиллионным народом, одна половина кабинета убеждена в том, что другую его половину составляют преступники и поджигатели». Что это действительно абсурдно, кто в этом сомневается? Но как раз все самое абсурдное, противоречащее здравому рассудку стало в гитлеровской Германии каждодневной действительностью, преступление стало правилом, безумные действия — методом, проявления разума и чести — редчайшими исключениями.

Полицейский советник Гелер старался обходить неприятные вопросы Димитрова способом, отличным от того, который применял Геббельс. Когда Димитров спросил его: «Верно ли, что в конце 1932 года национал-социалисты угрожали рейхсканцлеру Шлейхеру вооруженным восстанием?», полицейский советник ответил: «Этот вопрос не относится к моей компетенции». Его компетенцией были коммунисты. Немецкая национальная народ-

ная партия входила в компетенцию какого-то другого отдела. А немецкая политика в целом вообще не входила в компетенцию немецкого бюрократа и верноподданного. Для чего же тогда «фюрер»? Ведь именно для того, чтобы никто, чего доброго, не вздумал совать нос за пределы своей «компетенции» и не брал на себя ответственности за судьбы нации. Эта смертельная боязнь ответственности, выраженная в ходячей фразе «приказ есть приказ» или «компетенция есть компетенция», оказала роковое влияние на все развитие страны, облегчила задачу ее полной унификации и привела к тому, что всякое проявление своей собственной воли было исключено. «Я только солдат», — говорил генерал. То же самое говорил стрелок: «В мою компетенцию не входит политическое мышление. Моя компетенция — слепое послушание». Никто не чувствовал себя ответственным за немецкую нацию, никто не отвечал за преступления, участником которых он был, так как делать что-либо, кроме того, что предписано, означало бы переступить за пределы своей компетенции. А ответственность пусть несут другие, которые на самом деле являются олицетворением самого понятия безответственности. Подданный ни в чем не компетентен.

Димитров продолжал задавать вопросы: «Не существовала ли опасность вооруженного столкновения между национал-социалистами, с одной стороны, и сторонниками партии Папена и Гугенберга — с другой?» После этого Бюнгер лишил его слова, — чтобы не запутаться в «компетенциях». Тогда Димитров предложил допросить в качестве свидетеля Тельмана, а также Папена, Гугенберга, Брюнинга и Дюстерберга и добавил: «Я вношу это предложение для того, чтобы стала ясной политическая ситуация, каковой она была в действительности в начале этого года, и чтобы смогли понять, кому был нужен поджог рейхстага: коммунистам или другим людям». Предложение было поспешно отклонено.

Димитров повторил свое предложение в письменном виде и потребовал, чтобы господам Шлейхеру, Папену, Гугенбергу, Брюнингу и Дюстербергу были, в частности, заданы следующие вопросы:

«Верно ли, что в конце 1932 года и в январе 1933 года национал-социалистское руководство угрожало вооруженным походом на Берлин, если президент фон Гинденбург не передаст власть Гитлеру?..

Верно ли, что в январе 1933 года и накануне образования так называемого национального правительства вследствие внутренних споров в «национальном лагере», вследствие расхождений и споров между национал-социалистским руководством и его ударными отрядами, с одной стороны, и сторонниками генерала Шлейхера, фон Папена, Гугенберга, с другой стороны, была опасность непосредственного вооруженного столкновения, и не являлась ли как раз эта опасность непосредственной причиной внезапной передачи Гитлеру поста рейхсканцлера и образования «национальной коалиции»?

Верно ли также, что и после 30 января эти расхождения и споры продолжали существовать и что отношения между национал-социалистскими боевыми отрядами, с одной стороны, и «Стальным шлемом», Союзом офицеров запаса и другими «отечественными» организациями и группами, с другой стороны, были очень напряженными и приводили к многочисленным столкновениям?..

Верно ли, что пожар в рейхстаге был всесторонне использован национал-социалистским руководством для преодоления возникших у него правительственных трудностей, для достижения «единовластия» и для создания так называемого «тоталитарного государства» («Третья империя») путем насильственного роспуска всех партий, организаций, вспомогательных формаций, кроме национал-социалистских, путем «унификации» экономических, государственных, культурных, спортивных, военных, юношеских, церковных и других организаций и учреждений, печати, пропаганды и т. д.?

Верно ли, что в это время (в январе и феврале 1933 г.) не ожидалось всерьез никакого непосредственного вооруженного восстания по инициативе Коммунистической партии и что эту легенду начали распространять только после поджога рейхстага с тем, чтобы ею оправдать насильственные меры правительства и насильственные действия отрядов СА и СС?

Верно ли, что самоубийство председателя фракции партии германских националистов в рейхстаге *Оберфорена*, так же как и многие другие самоубийства и всякого рода «несчастные случаи», находятся в непосредственной связи с этим насильственным походом национал-социализма и с внутренней борьбой, раздорами, имеющими место в лагере так называемой «национальной революции»?

Каждый этот вопрос, изложенный в деловой и корректной форме, является метким ударом по подлинным поджигателям, образцом использования косвенных политических доказательств. Верховный прокурор Вернер сказал в своей заключительной речи: «Теперь у криминалистов есть один вопрос, который всегда задают первым, когда ищут виновников, а именно: в чьих интересах было совершено преступление?» В документе, подготовленном Димитровым, на этот вопрос дан самый ясный и самый убедительный ответ. Вернемся к заключительному слову Димитрова:

«Один вопрос остался невыясненным ни прокуратурой, ни защитниками. Меня не удивляет, что они не считали этого необходимым. Они очень боятся этого вопроса. Этот вопрос о том, какова была политическая ситуация в Германии в феврале 1933 года. Я должен здесь остановиться на этом вопросе. В конце февраля политическая ситуация была такова, что внутри лагеря национального фронта шла борьба...»

Б ю н г е р (нервничает): «Вы вступаете в область, касаться которой я вам уже не раз запрещал... Вы не должны останавливаться на этом».

Д и м и т р о в: «Я знаю это, и знаю, почему!»

И затем Димитров нашел новый путь для того, чтобы все же проникнуть в запретную область, чтобы по крайней мере дать понятие о более глубоком значении противоречий в национальном лагере. Там решался вопрос о войне и военной диктатуре. Военные промышленники, которые в течение многих лет финансировали гитлеровское движение, теснили представителей других немецких экономических кругов, не столь яростно выступавших в защиту империалистических планов. «Тиссен и Крупп хотели установить в стране принцип единовластия и абсолютного господства под своим практическим руководством». Вокруг этого и шла борьба в лагере власть имущих в государстве.

Замечание Бюнгера о том, что подсудимый-болгарин обнаруживает просто поразительный интерес к политическим проблемам Германии, позволило Димитрову нанести один из его блестящих контрударов: «...Я, как болгарский революционер, интересуюсь революционным движением во всех странах; я интересуюсь, например, южноамериканскими политическими вопросами и знаю их,

пожалуй не хуже германских, хотя я никогда не был в Америке. Впрочем, это не означает, что если в Южной Америке сгорит здание какого-нибудь парламента, то это будет моя вина».

Легкая импровизированная шутка проложила дорогу, и за ней тотчас же двинулись более весомые аргументы: «я благодаря своему политическому чутью разобрался во многих подробностях.

В политической ситуации того периода было два основных момента: первый — стремление национал-социалистов к единовластию, второй — в противовес этому — деятельность Компартии, направленная к созданию единого фронта рабочих. По моему мнению, это выяснилось также во время судебного разбирательства на процессе.

Национал-социалистам нужен был диверсионный маневр, чтобы отвлечь внимание от трудностей внутри национального лагеря и сорвать единый фронт рабочих. «Национальное правительство» нуждалось во внушительном поводе для издания своего чрезвычайного декрета от 28 февраля, отменившего свободу печати, неприкосновенность личности и установившего систему полицейских репрессий, концентрационных лагерей и других мер борьбы против коммунистов».

Бюнгер: «Вы дошли до крайнего предела, вы делаете намеки!»

Димитров действительно дошел до крайнего предела в том, что он мог высказать, не рискуя, чтобы ему запретили продолжать его речь. Больше ему ничего и не было нужно. Он ответил полностью на вопрос: *Cui bono*¹? Впечатление стало еще сильнее при противопоставлении свидетелей, защищавших позицию правительства, и тех свидетелей, которых доставили в суд прямо из концентрационных лагерей, после пыток, и которые, однако, имея перед собой пример Димитрова, опровергали то, что утверждало обвинение.

Свидетелями верховного прокурора, которые должны были подтвердить, что Коммунистическая партия Германии готовила вооруженное восстание, были: уже знакомый нам вор и морфинист Леберман, воры Кунцак, Кемпфер и Хинце, растратчик Вейнбергер, психопат и полицейский шпик Гроте. Они сочиняли истории, которые от

¹ Кому это выгодно? (лат.) — Прим. перев.

них хотели услышать,— о таинственных складах взрывчатых веществ в лесных пещерах, о подозрительных экспериментах со взрывчаткой, где якобы участвовали коммунистические депутаты парламента, о драматических тайных заседаниях, на которых коммунистические вожди якобы доводили до сведения изумленных членов партии, что рейхстаг скоро будет подожжен, и тогда нужно будет начинать действовать! Эти свидетели так беззастенчиво врали, сочиняя свои политические бульварные романы, что даже адвокат доктор Зак был вынужден потребовать ареста Гроте за дачу ложных показаний; наконец, было наскоро состряпано заключение судебных врачей, где обладающие наиболее богатой фантазией преступники, внезапно охваченные патриотическим порывом, были признаны невменяемыми: это было единственным средством спасти их от ареста за явное клятвопреступление. И все-таки они были весьма скромными лжецами по сравнению с Гитлером и Герингом, преподносившими обществу значительного более кровавые сенсации.

Свидетели-коммунисты из концентрационных лагерей, люди с явными следами тяжелых переживаний на худых, изможденных лицах, бесстрашно заявляли перед судом, что им ничего не было известно о каком-то «сигнале», что для них поджог рейхстага вовсе не означал знака к выступлению и что вооруженные действия могли быть приняты лишь в случае похода штурмовиков на Берлин, как мера обороны против фашистского насильственного переворота.

Этих свидетелей прокурору никак не удавалось использовать в своих целях.

Но перед ним неумолимо стоит кредитор Димитров. То, о чем убитые молчат, о чем жертвы пыток говорят лишь намеками, что избитые люди могут высказать только шепотом, он произносит во всеуслышание, и голос его доходит до самых отдаленных уголков земли. Он вскрыл позорные дела фашистских поджигателей. Он идет еще дальше: он указывает выход из фашистского чертова круга.

Димитров подчеркивает: «Рабочий класс в настоящее время обороняется. Не фронтальное наступление на капитализм, но оборона против фашистского наступления — такова задача». Он вновь и вновь высказывает эту мысль, высказывает ее различными способами. Допраши-

вают арестованного рабочего Мейера; Димитров спрашивает его:

«Имели ли место в это время или немного раньше нападения национал-социалистов на собрания коммунистов и как часто?»

Мейер: «Да, это бывало часто».

Димитров: «Защищались ли рабочие-коммунисты от нападения национал-социалистов, предпринимали ли они что-нибудь против этого?»

Мейер: «Тогда и мы не сидели сложа руки...»

Димитров: «... Вот это-то я и хотел бы установить, особенно в противовес господину верховному прокурору. Это очень важно. Мы еще вернемся к этому вопросу».

И затем, в заключительной речи: «Рабочие в это время находились в состоянии обороны против наступающего фашизма. Компартия Германии пыталась организовать сопротивление масс, оборону...» И еще настойчивее «Коммунистическая партия стремилась в этот период создать единый фронт, для того чтобы объединить силы для обороны против попыток уничтожения рабочего движения со стороны национал-социалистов...»

Это было сказано не только для суда; это было направленное через головы судей прямое предупреждение немецким антифашистам: дело идет о самом существовании германского рабочего движения. Поэтому задача заключается в том, чтобы собрать все силы для обороны.

Димитров подчеркнул с величайшей убедительностью: враг — это Гитлер, главный враг, смертельный враг — фашистская диктатура. Против нее нужно сплотить все силы. Димитров подверг вождей социал-демократии резкой и заслуженной критике, но одновременно он выдвинул на передний план необходимость создания широкого и подлинно единого фронта. Нацистские фюреры хорошо знали: в этом для них заключалась величайшая опасность, и слишком дорогой оказалась бы для них плата за «победу», если бы ее следствием явилось создание единого антифашистского фронта. Не случайно хитрый Геббельс, выступая в качестве свидетеля, заявил: «Мое впечатление таково, что обвиняемый *Димитров* хочет вести на этом суде пропаганду и защищать не только коммунистическую, но и социал-демократическую партии». Димитров не сказал ни единого слова в защиту политики германской социал-демократии — наоборот! — но в то же

время он старался указать на общность интересов, на историческую необходимость совместных действий. Не напрасно говорил он о диктатуре хозяев военной индустрии и гитлеровской партии, о походе против всех партий и организаций народа с целью их уничтожения. К власти пришло не просто новое правительство, а новая система; власть перешла к одному крылу немецкой буржуазии — к наиболее оголтелым империалистам. В этом заключалась величайшая опасность, но в этом же были заложены и великие возможности для создания подлинно единого фронта, целью которого должно было стать развертывание широкого антифашистского народного движения.

В своей потрясающей заключительной речи Димитров сказал: «Полицейский чиновник Гелер цитировал здесь коммунистическое стихотворение из книги, изданной в 1925 году, чтобы доказать, что в 1933 году коммунисты подожгли рейхстаг.

Я позволю себе также процитировать здесь стихотворение величайшего поэта Германии Гёте:

Впору ум готовь же свой.
На весах великих счастья
чашам редко дан покой:
должен ты иль подыматься,
или долу опускаться;
властвуй — или покоряйся,
с торжеством — иль с горем знайся,
тяжким молотом взвивайся —
или наковальней стой».

Пламенные слова величайшего немецкого поэта осветили своим светом политическую истину, которую Димитров возвещал немецким — и не только немецким — антифашистам: половинчатость приводит к гибели. Кто не хочет быть наковальней, должен стать молотом. Право, которое отступает перед силой, обречено на падение, на поражение, оно попадает под молот. Боритесь за право, превращайте его в силу, учитесь бить молотом, который уничтожает преступников! Собирайте свои силы воедино, бросайте на чашу весов всю свою решимость — тогда вы станете сильнее этой так высоко забравшейся банды разбойников, сила которых основана на вашем бессилии, на вашей разобшенности и нерешительности.

Димитров выступал перед имперским судом не только как борец и выразитель общих интересов всех антифа-

шистов, всех демократически настроенных людей и народов, но также и как великий сын болгарского народа, олицетворяя собой достоинство всего человечества и честь своей нации. Изложение Димитровым сущности национального вопроса, убедительность, с которой он не только объяснил отношения между рабочим классом и нацией в целом, но и непосредственно воплотил их в самом себе, принадлежат к наиболее замечательным моментам этого великого процесса.

Коммунист, преследуемый болгарскими палачами, с гордостью заявил о своей преданности болгарскому народу:

«Меня не только всячески поносила печать — это для меня безразлично, — но в связи со мной и болгарский народ называли «диким» и «варварским»; меня называли «темным балканским субъектом», «диким болгарин-ном», и этого я не могу обойти молчанием.

Верно, что болгарский *фашизм* является диким и варварским. Но болгарский рабочий класс и крестьянство, болгарская народная интеллигенция отнюдь не дикари и не варвары. Уровень материальной культуры на Балканах, безусловно, не так высок, как в других европейских странах, но духовно и политически наши народные массы не стоят на более низком уровне, чем массы в других странах Европы. Наша политическая борьба, наши политические стремления в Болгарии не ниже, чем в других странах. Народ, который 500 лет жил под иноподданством, не утратив своего языка и национальности... такой народ не является варварским и диким. Дикари и варвары в Болгарии — это только фашисты. Но я спрашиваю вас, господин председатель: *в какой стране фашисты не варвары и не дикари?*»

Б ю н г е р (прерывает Димитрова): «Вы ведь не намекаете на политические отношения в Германии?»

Д и м и т р о в (с иронической улыбкой): «Конечно, нет, господин председатель...

Задолго до того времени, когда германский император Карл V говорил, что по-немецки он беседует только со своими лошадьми, а германские дворяне и образованные люди писали только по-латыни и стеснялись немецкой речи, в «варварской» Болгарии Кирилл и Мефодий создали и распространили древнеболгарскую письменность.

Болгарский народ всеми силами и со всем упорством боролся против иноземного ига. Поэтому я протестую против этих нападков на болгарский народ. У меня нет основания стыдиться того, что я болгарин, и я горжусь тем, что я сын болгарского рабочего класса».

Это страстное и в то же время всесторонне обоснованное заявление одного из руководящих коммунистов о преданности своей нации произвело сильнейшее впечатление не только в тот момент, когда оно было сделано. Оно имело также и принципиальное, непреходящее значение.

Прежде всего это был исключительной силы удар по идее расового превосходства, по национальному чванству, по шовинистической мании величия немецких «сверхчеловеков». С высоты достигнутого вами уровня развития материальной цивилизации, гордясь своими ватерклозетами и другими техническими достижениями, вы смотрите на малые славянские народы на Балканах сверху вниз, с невыразимым презрением. Да, действительно, у нас есть кое-какие элементы дикости и варварства. Дикарями и варварами являются наши фашистские правители. Но как раз это должно вам быть по душе, как нечто близкое и знакомое. Ведь в этом вы нас не только догнали, но и значительно перегнали. Жестокость и зверство у вас продуманы вплоть до каждой мелочи, с точностью и аккуратностью, доньше невиданной. А что кроме этого вы знаете о малых славянских народах на Балканах? Их история — это история пятивековой борьбы за свободу. А ваша история, разрешите вас спросить? Конечно, вы тоже вели борьбу за свободу, но не это является наиболее характерным для вашей истории. Императоры, которые часто не умели даже говорить по-немецки, подобно Карлу V. Короли, которые точно так же пользовались немецким языком только на конюшне, как какой-нибудь Фридрих II, ваш Fridericus Rex. Бесконечная вереница реакционных властителей, коронованных разбойников с большой дороги, надутых князьков-карликов. А сейчас — юнкеры, как издавна, господа и рабы, фюреры, фельдфебели, подданные. Довольно печальная история. Вы создали и нечто великое, достойное изумления и восхищения: у вас были Гёте и Гегель, Маркс и Энгельс; но в целом ваша история не составляет собой славы Европы. У вас нет ни малей-

шего основания презрительно смотреть сверху вниз на малые славянские народы на Балканах, национальной традицией которых является борьба за свободу.

Однако патриотическое заявление Димитрова было не только ударом по немецкому шовинизму. Это было обращение к немецким антифашистам: Ну, а вы, понимаете ли вы, что германская история, что прошлое вашей нации — это не просто материал для ученых, но ваше собственное кровное дело? Даже Карл V имеет к вам кое-какое отношение: это было время Реформации и Крестьянской войны, время, когда принимались решения на столетия вперед, и последствия этих решений сказываются в Германии до сих пор. Или, быть может, вы полагаете, что положение дел в какой-либо исторический момент можно совершенно точно выразить современными средствами статистики, подсчитав только число машин, размеры концентрации капитала и определив степень организованности классовых сил и т. д.? Каждый исторический момент отражает и всю историю нации в целом. То, что славянские народы Балкан, что великий русский народ веками вели борьбу против иноземного ига, в одном случае — против турок, в другом — против монголов, это — не мертвое прошлое, это еще живет, это питает современность. Постарайтесь получше разобратся в немецкой истории, и тогда вы лучше поймете современную Германию!

Этот синтез антифашистской и национальной освободительной борьбы, выполненный Димитровым, не был тогда в достаточной мере понят. Речь шла о центральном вопросе освободительной борьбы в нашу историческую эпоху, о подъеме и слиянии всех сил свободолюбивых народов на защиту национальной независимости, демократии и цивилизации. Нужно было, с одной стороны, разъяснить буржуазным и мелкобуржуазным демократам, честным патриотам всех направлений: не бойтесь рабочего класса! Не дайте использовать себя в борьбе против него. Наличие сильного и свободного рабочего движения является необходимым залогом свободы и мира для нации! Вы вонзаете нож в свое собственное тело, когда помогаете громить рабочие организации, подавлять рабочее движение! Нужно было, с другой стороны, разъяснить рабочим: вы не стоите вне нации; наоборот, вы, как самый многочисленный и самый

важный класс современного общества, несете наибольшую ответственность за судьбу нации. Слово «патриотизм» имеет для вас неприятный привкус, потому что реакция в течение долгого времени придавала ему ложный смысл, империалистические клики злоупотребляли им в своих интересах. Да, они все используют в своих целях. В их устах правда превращается в ложь, понятия высокой человечности — свобода, честь, отечество, цивилизация, социализм — в объекты спекуляции. Использование высоких идеалов для низменных целей неотделимо от самой сути этих паразитов. Они не патриоты и не социалисты. Отечество для них — это акционерное общество, нация — вывеска фирмы, занятой кровавыми операциями. Не допускайте больше этого извращения понятий. Патриоты — это вы, вы должны продемонстрировать новый, могучий, свободолюбивый патриотизм. Патриотизм сложился некогда в борьбе народа против реакционных поработителей. Верните ему его старый смысл. Европа нуждается в этом, для нее это вопрос жизни и смерти. Вы, сознательные рабочие, должны стремиться к международному взаимопониманию и к единству в борьбе. Среди вас многие полагают, что этот интернационализм несовместим с истинно патриотическими взглядами. Это неправильное, механистическое противопоставление. Одно не исключает другого, наоборот: патриотизм и интернациональное боевое единство свободолюбивых людей и народов должны дополнять друг друга. Только подлинное интернациональное боевое единство может обеспечить свободолюбивым народам мир и защитить их права на самостоятельное развитие. И чем глубже прониклись патриотизмом рабочие какой-либо страны, то есть чем лучше они защищают правильно понятые интересы своей собственной страны, тем энергичнее они будут стремиться поддерживать братские отношения с рабочими других стран, развивать и укреплять боевое единство свободолюбивых народов.

Мир идет вперед, и горе нам, если мы будем стоять на месте! Со времени первой мировой войны многое изменилось. Мировая история рождает такое многообразие форм развития, что ни один человеческий ум не может их все предвидеть. Мы можем с помощью научных формул выразить в общих чертах закон развития, но не можем угадать, каким будет его конкретное проявление в том

или ином случае. Известный социалист и мыслитель Роза Люксембург утверждала во время первой мировой войны, что в эпоху империализма не могут иметь место национально-освободительные войны. Ленин энергично возражал ей и указывал на возможность возникновения подобных войн также и в Европе. Великая национальная война в Европе, писал он в 1916 году в своей полемической статье «О брошюре Юниуса», конечно, не очень вероятно, но не невозможна, «ибо представлять себе всемирную историю идущей гладко и аккуратно вперед, без гигантских иногда скачков назад, недиалектично, ненаучно, теоретически неверно»¹.

То, что казалось невероятным, стало действительностью. Германский империализм, разбитый, но не уничтоженный в первой мировой войне, поднялся еще раз с такой силой, яростью и бешенством, каких в нем и не предполагали. Опасность установления тирании Германии над всей Европой, даже над всем миром приобрела такие громадные размеры, вопрос о жизни и смерти наций стоял так остро, что пришлось вести величайшую в истории всех времен национально-освободительную войну. С другой стороны, в мировой политике возник совершенно новый фактор: социалистический Советский Союз. Новые электромагнитные силовые поля создают в мире физических явлений новые напряжения, соотношения сил, состояния равновесия; то же самое происходит и в мировой политической системе. В течение четверти столетия имели место колебания, нарушение состояния равновесия, решался вопрос, от которого зависела судьба буржуазной демократии: какое направление победит в результате столкновения энергий, куда пойдет развитие: назад, к прошлому, или вперед, к созданию новой системы мира во всем мире? Против Советского Союза или вместе с Советским Союзом? Антисоветская концепция дала германскому империализму возможность вырасти, подобно допотопному чудовищу, за спиной тех, для кого страшнее всего на свете то, что в мировой системе государств существует Советский Союз. Эта неверная ориентация имела роковые последствия; чем больше росла опасность со стороны германского фашизма, тем яснее становилась для демократического

¹ В. И. Ленин, Соч., т. 22, стр. 296.

мира необходимость соглашения с Советским Союзом. За Советский Союз или против него — это было равносильно решению — за или против мира во всем мире, за или против спасения человечества от ужасающей катастрофы.

Димитров, выступавший перед Лейпцигским имперским судом, был настоящим олицетворением единства антифашистской освободительной борьбы, патриотической страстности и глубокой любви к Советскому Союзу. И точно так же, как многое в этом процессе имело значение не только само по себе, но становилось символом будущих мировых событий, так и то, что в конце концов Советский Союз спас жизнь этого великого борца за свободу, означает много больше, чем просто один из драматических эпизодов.

Благодаря собственному мужеству и уму Димитров, которого активно поддерживал единый фронт свободлюбивых людей во всех странах, отвел занесенную над ним руку немецкого палача. Но той силой, которая окончательно вырвала его из рук немецких убийц, был Советский Союз.

В своей заключительной речи Димитров протестовал против предложения верховного прокурора о простом оправдании обвиняемых болгар за отсутствием доказательств их виновности.

«...Меня,— сказал Димитров,— это отнюдь не может удовлетворить. Вопрос далеко не так прост...

Я предлагаю вынести следующее решение:

1. Верховному суду признать нашу невиновность в этом деле, а обвинение — неправильным...

2. Ван дер Люббе рассматривать как орудие, использованное во вред рабочему классу.

3. Виновных за необоснованное обвинение против нас привлечь к ответственности.

4. За счет этих виновных возместить убытки за потерянное нами время, поврежденное здоровье и перенесенные страдания.

Председатель: Эти ваши так называемые предложения суд при обсуждении приговора будет иметь в виду.

Димитров: Наступит время, когда такие предложения будут выполнены с процентами...

В XVII веке основатель физической науки *Галилео*

Галилей предстал перед строгим судом инквизиции, который должен был приговорить его как еретика к смерти. Он с глубоким убеждением и решимостью воскликнул: *«А все-таки земля вертится!»*

И это научное положение стало позднее достоянием всего человечества».

(Председатель резко прерывает Димитрова, встает, собирает бумаги и готовится уйти.)

Димитров (продолжает): *«Мы, коммунисты, можем сейчас не менее решительно, чем старик Галилей, сказать:*

«И все-таки она вертится!»»

Димитрова признали невиновным, но не освободили. Этого удивительного обвиняемого, этого потрясающего обвинителя не удалось уничтожить с помощью судебного приговора. Однако фашистские звери твердо решили уничтожить победителя, который заклеил их перед лицом всего мира, другим способом: из-за угла, без сохранения видимости законности. Геринг отдал приказ убить его.

22 декабря 1933 года, за день до объявления приговора, американский посол в Берлине Уильям Э. Додд записал в своем дневнике: «Некий журналист, информация которого, как я всегда убеждался, является надежной, но имя которого я не осмеливаюсь назвать даже в этом дневнике, явился ко мне этим утром и сообщил, что один весьма высокопоставленный немецкий чиновник — как мне кажется, это шеф тайной государственной полиции Рудольф Дильс — сообщил ему, что утром имперский суд, вот уже с сентября ведущий процесс о поджоге рейхстага, признает невиновными всех коммунистов, кроме Ван дер Люббе. Однако Георгий Димитров, болгарский коммунист, изгнанный из своей страны, по приказу прусского премьер-министра Геринга должен быть умерщвлен до того, как ему удастся покинуть Германию. Информатор моего приятеля добавил к этому: «Я знаю, что, говоря с вами, я подвергаю свою жизнь опасности, но я провел уже несколько ужасных ночей, и я решил поставить вас в известность об этом в надежде, что вы сможете что-нибудь предпринять, что могло бы предотвратить исполнение этого приказа». Мой приятель-журналист был очень расстроен, но отказался назвать мне

имя своего информатора, занимающего официальное положение, однако утверждал, что убийство Димитрова наверняка произойдет, если только не будет предпринято что-нибудь для того, чтобы информировать об этом мировую общественность».

На следующий день этот же, оставшийся неизвестным, журналист сообщил американскому послу, что английская и американская пресса опубликовала его информацию. Он показал ему телеграмму для заграничной печати, в которой Геббельс все отрицал, но одновременно делал нескромные намеки, разоблачающие его сообщника Геринга. В отсутствие Геринга саксонской полиции было поручено вывезти признанных невинными подсудимых под эскортом, минуя прусскую территорию, где Геринг был хозяином над жизнью и смертью Димитрова. Однако Геринг теперь, как и прежде, был полон решимости выполнить свою угрозу об убийстве, произнесенную им перед имперским судом. Он приказал доставить Димитрова в Берлин, в пользующиеся печальной известностью катакомбы тайной государственной полиции. Там, в темном и сыром подzemелье, этот борец за свободу, здоровье которого уже было серьезно подорвано, должен был распрощаться с жизнью, как многие до него и после него. Эта темница, в которую бросали живых и из которой выносили мертвецов, в то время когда немецкая цивилизация еще была жива, служила погребом Прусской академии искусств. «Академия искусств,— рассказывал Димитров в интервью, данном корреспонденту французской газеты «Энтрансижан»,— приютилась в малюсеньком домике, а в ее здании устроили большую тюрьму. В этом проявилось все великолепие теперешнего режима». Геринг изгнал искусства и на их место поместил убийство. Катакомбы гестапо находились под его непосредственным контролем. Димитров был ему выдан. Смерть занесла над Димитровым свою руку.

Советский Союз вырвал его из когтей смерти. 15 февраля 1934 года Советское правительство приняло великого борца за свободу в советское гражданство и потребовало его освобождения. Немецкие властители не осмелились отклонить это требование. Однако и теперь Геринг не отказывался от мести. Он надеялся «нордической хитростью» достичь того, чего не смог сделать с помощью открытого насилия, и поручил передать узнику

приглашение принять участие в охоте, быть его гостем в заповедных девственных лесах Германии — гостем палача, «красной дичью» этого специалиста по охоте на людей. Там, в темной чаще, среди молчаливых болот на Дарсе, где Геринг так любил устраивать бойню оленей и кабанов, можно было исчезнуть, не оставив никаких следов, точно так же, как и в подземельях гестапо. Димитров посмеялся над этой последней неуклюжей попыткой своего смертельного врага; он был хорошо знаком с «Песнью о Нибелунгах» и знал, как Хаген умертвил Зигфрида: с «германской верностью» и «нордической хитростью». 27 февраля Димитров был самолетом доставлен в Советский Союз. Вечером он был в Москве, на свободе.

Его первым словом было выражение благодарности всем тем, кто поддерживал его в борьбе, в его героической борьбе за свободу:

«Наше первое слово — это наша бесконечная и безграничная благодарность международному пролетариату, широчайшим слоям трудящихся всех стран честной интеллигенции, боровшимся за наше освобождение. И в первую очередь мы выражаем, естественно, нашу благодарность рабочим и крестьянам Советского Союза — нашего социалистического государства».

Благодарность... Человечество обязано быть благодарным Димитрову.

Его пример, его борьба и его победа перед Лейпцигским имперским судом, его незабываемая заключительная речь входят как неотъемлемый вклад в историю человечества.

Это было первое поражение немецко-фашистских властителей.

Это была первая большая победа, ободрившая всех свободолюбивых людей после трагической капитуляции германской демократии.

Это была первая зарница великой освободительной войны: пламя истины, свободы и исторической справедливости.

НЕУГАСИМОЕ ПЛАМЯ

Пример Димитрова, его героический подвиг, словно вспышка пламени, озарил тьму, опустившуюся над Европой.

И в самом деле: в Европе мало-помалу воцарилась тьма. Потускневший огонь демократии был уже не настолько сильным, чтобы испепелить преступников, стремившихся затоптать его железной пятой.

Мрачные черные тучи, одержавшие верх, безудержная безумная жажда власти, с одной стороны, и малодушные — с другой, поглотили идею свободы, это благороднейшее детище Европы. Повсюду, из всех расщелин и зловонных ям разлагающегося общества подымался и расползался фашизм и повсюду противостоящие ему силы демократии оказывались полностью или частично парализованными.

Казалось, что свобода устарела и утратила свою привлекательную силу, перестала быть пленительной возлюбленной, превратилась в надоевшую экономку. Никто уже не хотел умирать за нее. Но общественные идеи живут только благодаря тому, что всегда находятся люди, готовые умереть за них. Это было время, когда Муссолини издевательски заявлял, что он часто слышал, как требуют хлеба, но никогда не слышал, чтобы кричали, требуя свободы.

Самые существенные причины этого падения были заложены в глубоком противоречии между застывшей,

формальной демократией и еще не виданным по своей силе общественным развитием в нашем веке. Мир стремительно двигался вперед, а демократия делала обратное, устремляя свои взоры назад. Она не доверяла силам будущего, а всячески цеплялась за силы прошлого. Вместо того чтобы бесстрашно ориентироваться на достижение новых целей, к которым устремлялись (хотя часто еще не осознанно и хаотично) народные массы, она все более и более ориентировалась на могущественные реакционные клики, открывшие в гигантских производительных силах XX столетия безграничные возможности для усиления своего господства и увеличения богатств и ненавидевшие стремление народов к свободе, в котором они усматривали ограничение этих возможностей. Некоторые официальные представители демократии подмечали усиление напряженности в общественных отношениях, но не осмеливались взяться за радикальное разрешение жгучих проблем. Их робкие действия только способствовали тому, что общество все более и более стало превращаться в склад взрывчатых веществ, где всюду развешаны надписи с предупреждениями: «Внимание! Не прикасаться! Опасно для жизни!» Так демократия капитулировала перед трудностями бурной эпохи, ограничилась полумерами и мелкими реформами, отказалась от больших творческих концепций. С другой стороны, некоторые демократические установления и обычаи казались до такой степени само собой разумеющимися, известные принципы цивилизации представлялись столь надежно упроченными, что руководящие деятели демократии даже и не замечали, как варварство, жестокость и прямое зверство все более угрожающе подымались со дна общества. Они убеждали самих себя, а также и других, что фашизм вовсе не является таким диким, кровавым и не признающим никаких препон, каким он сам себя изображает, что, придя к власти, он, так сказать, «цивилизуется», а вся его ярость выльется только на головы коммунистов и затем он в общем и целом «образумится».

Излить ярость на головы коммунистов — это служило в глазах многих «ночных сторожей» демократии некоторым оправданием фашизма. Этот «антикоммунизм» формальной демократии был одной из опаснейших брешей, через которую в ее крепость смог проникнуть преступ-

ный фашизм. Очень многих демократов «антикоммунизм» ослепил и лишил способности разглядеть подлинную опасность, угрожавшую обществу. Во имя «антикоммунизма» они заключили более или менее открытый союз со смертельными врагами демократии и, таким образом, оказались не в состоянии защищать самые основы свободы и мира. Реакция всеми средствами стремилась к тому, чтобы вызвать состояние панического страха перед «большевизмом». С ее точки зрения это совершенно понятно: страх отнимает разум, и людям, одуревшим от страха, можно было выдавать за «шаг к большевизму» каждый признак стремления к свободе, каждое прогрессивное мероприятие. Так, прусские юнкеры обвиняли в «большевизме» рейхсканцлера Брюнинга за подготовленную им весьма умеренную земельную реформу. Страх отнимает разум. Поэтому верили самым нелепым измышлениям, самым диким и страшным реакционным сказкам о Советском Союзе — на горе народам и на пользу фашистским врагам человечества. «Большевизм» был превращен в страшный призрак, и ужас перед этим призраком помешал демократии защищать себя против абсолютно реальных фашистских бандитов и убийц.

Ясно, что демократия, которая трепетала от страха, вместо того чтобы решительно поднять голову, не обладала притягательной силой, не оказывала мобилизующего действия. Она не могла разжечь политические страсти и не была способна положить конец распаду таких святынь, как свободолюбие, патриотизм, чувство человеческого достоинства. Ее политика приводила к тому фаталистическому смирению, печальным лейтмотивом которой является: «Нет ничего такого, из-за чего стоило бы рисковать своей жизнью. Лучше быть живым трупом, чем презирающим смерть борцом за свободу. Лучше быть рабом, чем мертвецом».

В этой холодной мгле, охватившей всю Европу, Димитров разжег пламя борьбы за свободу. Это был подвиг, зовущий к действиям. Здесь, перед имперским судом, стоял человек, до конца преданный идее, за которую стоит умереть: любви к свободе, человеческому достоинству, безусловной преданности великой идее прогресса. И этот человек вышел из того мира коммунистического движения, о котором рассказывались глупейшие страшные сказки, изображение которого в кривом зеркале ре-

акционной пропаганды служило для запугивания невежд. Этот обвиненный в преступлении коммунист, сражаясь не на жизнь, а на смерть, используя все высокие качества своей богатой и сильной личности, защищал все то, что немецкие демократы предали без борьбы: демократические права человека, знамя свободы, цивилизации и гуманизма. Черная завеса лжи и безумия начала трещать и рваться, истина выступила наружу. Затаив дыхание следило все человечество за тем, как бесстрашные коммунистического борца за свободу, к которому все относились с живейшим сочувствием, спасало его честь и возрождало его величайшие идеи. То, чего не хватало обессиленной буржуазной демократии, здесь вновь предстало перед всем человечеством: меч и пламя негибаемой воли к борьбе. Старое, сложившееся на основе заблуждений и фальсификаций представление о мире оказалось поколебленным. Возникла новая концепция антифашистской борьбы за свободу.

Пример Димитрова оказал влияние на всех свободолюбивых людей. Дух нового боевого содружества стал распространяться широко, вышел за тесные рамки партий. Фашизм покушался на основы человеческой цивилизации. Нужно было защищать их совместно, объединенными силами коммунистов, социалистов, демократов, католиков и протестантов, радикалов и консерваторов. К этому объединению всех сил призывали пример и голос Димитрова. Во имя Димитрова, в поддержку его борьбы перед Лейпцигским имперским судом во многих странах образовались первые колонны такого антифашистского фронта. Это движение разрушало классовые и партийные барьеры, охватывало людей с различным общественным положением и различными политическими воззрениями. Оно показало, что имелась возможность преодолеть устаревшие формы и формулы и создать концепцию новой боевой демократии. К сожалению, это было только началом. Потребовались еще трагические испытания и невероятные усилия для того, чтобы преодолеть инертность сердец, привести в движение потенциальные демократические силы, заставить их свернуть с привычного пути, отказаться от узколобых предрассудков и мелкого эгоизма. Если бы это движение смогло уже тогда встряхнуть и увлечь народы, если бы уже тогда образовался демократический мировой фронт борьбы

против фашистских преступников, человечеству не пришлось бы перенести поистине неисчислимые страдания и бедствия.

Дух захватывает, если мысленно оглянуться на годы, когда пожар в рейхстаге перерастал в пожар мировой войны. Это была самая яростная борьба, которую мир когда-либо переживал, борьба неисчислимых миллионов людей за мир против войны, за жизнь против смерти. На одной стороне — фашистские диктаторы, все помыслы и желания которых были устремлены только на войну, на уничтожение всех демократических достижений, на превращение всего мира в немецкий концентрационный лагерь. За ними, в тени, — «мюнхенцы», которые воображали, что они держат диктаторов в Берлине и Риме на ниточке, как марионеток, тогда как эти «марионетки» сначала втайне, а затем и во всеуслышание высмеивали слепцов, воображавших себя закулисными руководителями. На другой стороне — Советский Союз, последовательно прилагающий все усилия к тому, чтобы обеспечить мир, создав систему коллективной безопасности, чтобы разоблачить и сорвать военные планы фашистских агрессоров и объединить все свободолюбивые и заинтересованные в мире силы в единый мировой фронт борьбы против поджигателей войны. Во всех демократических странах были отдельные дальновзоркие политики, которые не строили себе никаких иллюзий относительно германского империализма, предвидели роковые последствия мюнхенской политики и стремились добиться установления сотрудничества между их странами и Советским Союзом. И между этими двумя центрами сил — сил войны и сил мира — большинство народов и политических деятелей, нерешительных, колеблющихся, которые под влиянием деморализующего их страха и обманчивых надежд хватались то за одно, то за другое и боялись ясного понимания происходящего, боялись всяких смелых решений, мелкие заботы, конфликты и эгоистические соображения, важные для данного момента, они воспринимали, как нечто более важное, чем великое требование исторической необходимости, — и все это в условиях, когда шла борьба за то, чтобы привлечь на свою сторону простого человека с его возросшими потребностями, когда сама демократия оказалась обескровленной и ослабленной. Путь, указанный Димитровым, требовал муже-

ства, боевой решимости, широты взглядов. Путь «мюнхенцев», казалось, был много спокойнее, обещал спасение мира без риска. Так приятно слушать то, что успокаивает. Когда Гитлер клялся, что, если ему пойдут навстречу в его неотложном и уж на этот раз наверняка «самом последнем» желании, он совершенно определенно не будет больше предъявлять никаких претензий, «мюнхенцы» спешили ему на помощь: «Дайте этому крикуну, ради бога, то, что он требует, заткните ему глотку пищей, тогда он закроет свою пасть, и мы снова будем наслаждаться дорогим нам миром!» К чему это постоянное беспокойство со стороны антифашистов, которые твердят: «Чем больше ему дают, тем больше он будет требовать! Ведь бояться раздражить хищника — это самая опасная политика! Имеется только одно единственное средство предотвратить войну, самую ужасную из всех,— это решительное, мужественное, не отступающее ни перед какими угрозами сопротивление!» Народы жестоко заплатились за то, что они в большинстве своем предпочли внимать ласкающему слух обману, а не горькой истине.

Каждый знает, как развивались события в дальнейшем. Главари фашистской банды и в области внешней политики применяли «тактику поджога рейхстага», причем с таким однообразием, что становится стыдно за память и разум человечества. В чем состояла эта тактика? При каждом поджоге, совершенном самими фашистами, объявлять поджигателями коммунистов; за каждое преступление, которое они сами учинили или подготовили, возлагать вину на «большевизм»; объявлять себя «спасителями» всего того, что решено уничтожить: от мелкой собственности ремесленника до европейской цивилизации; оглушительными воплями о якобы существующем «большевистском мировом заговоре» отвлекать внимание от собственного заговора против свободы и мира во всем мире; возбуждать панический страх для того, чтобы воспрепятствовать возникновению демократического фронта борьбы, разобщить силы демократии с тем, чтобы расправиться с ними поодиночке; и, наконец, припереть к стенке даже своих реакционных пособников и надуть их при дележе. В этом состояла и такой неизменно оставалась тактика поджигателей рейхстага.

В Лейпциге Димитров разоблачил суть этой тактики.

Слишком поздно поняли его народы. Потребовалась ужаснейшая из войн всех времен для того, чтобы объединить силы демократии, установить мировой фронт свободы. Мужчины и женщины, которым за несколько лет до этого не снилось, что они оставят свой домашний очаг и упорядоченную жизнь, чтобы превратиться в преследуемых и гонимых мятежников; учителя, врачи, артисты, пасторы, чиновники, офицеры, студенты боролись рука об руку с рабочими и крестьянами и стали героями борьбы за свободу и демократию. Они уходили в дикие леса, чтобы защищать цивилизацию, ставили себя вне закона для того, чтобы спасти права человека, шли на смерть, чтобы жизнь не лишилась всякого смысла. Депрессия, отчаянные попытки как-то приспособиться к аду, в который превратилась Европа после ошеломляющих побед Гитлера,— все это постепенно преодолевалось. Ночная тьма начала рассеиваться. Народы почувствовали первое дыхание нового дня. На востоке небо полыхало огнем. Яркое разгорелась утренняя заря. Не только в Югославии, в Греции, в странах, где традиции революционно-патриотического народного движения были еще молоды и свежи, но также в давно сложившихся, старых, почтенных странах Европы — в Голландии, Норвегии, Дании пылало пламя боевого духа, который воплощал собой Димитров в Лейпциге; Франция, в течение длительного времени как бы парализованная, воспрянула и показала себя достойной своего славного прошлого, своего национального величия. Поворот был подготовлен в результате действий множества небольших, молекулярных процессов. Здесь действовали многие факторы: жестокость немецкого чужеземного господства, упорное сопротивление Англии, освободительная борьба греков и югославов и прежде всего Отечественная освободительная война советского народа — сверкающий, словно молния, меч возмездия в руках Красной Армии, новая перспектива, возникающая вследствие заключения боевого союза великих западных держав с Советским Союзом. Демократия, погруженная в состояние летаргии, пережила изумительное возрождение, новую эпоху демократического героизма.

В новом облике предстала демократия, родившаяся в ужасные ночи смертоносных бомбардировок, из всеобщего потрясения, бесконечных страданий, жертв и не-

имоверных усилий — это был трофей победы, за которую пришлось заплатить слишком дорого. Тот, кто, борясь за демократию, многократно рисковал своей жизнью, имеет с этой демократией более глубокие внутренние связи, чем равнодушный гражданин в прежние времена. Тот, кто спас ее, не останавливаясь ни перед какими жертвами, кто вывел ее из ада, понимает: ей нужна более сильная опора и защита, чем старательно отшлифованные конституции, положения о выборах и парламентские уставы. Демократия должна пронизывать всю жизнь народа. Она должна шагать в ногу с развивающимися общественными условиями и потребностями. Она должна ставить перед собой большие задачи, чтобы не задохнуться в мелкой повседневной суете. Она должна излучать силу, энергию, блеск увлекательных идей, чтобы не скатиться в безразличие, неудовлетворенность, умственную и моральную апатию. Она должна поднимать инициативу, энергию и бдительность масс, вызывать в них страстную готовность к самопожертвованию, чтобы не попасть в руки трусов, капитулянтов и предателей и не стать жертвой яда и кинжала в руках реакционных клик. Дело идет о возрождении, а не о реставрации демократии.

Новая основа демократического развития — это единство народа. Оно тоже явилось результатом освободительной борьбы. Рабочие, крестьяне, интеллигенты сблизились между собой так, как никогда. Свободолюбивый националист научился уважать патриота-коммуниста, честный консерватор — честного радикала. Интеллигент, который прежде очень часто был чужд народу и признавал свободу не как общественный принцип, а лишь как гарантию против вторжения в его частную жизнь, стал по-новому относиться к народу и к свободе. Рабочий, который прежде испытывал к интеллигенту глубочайшее недоверие, оценивает его теперь в свете его боевой деятельности.

И действительно: активное и героическое участие многих и многих представителей интеллигенции в борьбе за свободу угнетенных народов представляет собой один из важнейших элементов демократического обновления. Пусть интеллигенция никогда не забывает: только свободный народ гарантирует свободу духа, искусства и науки. Пусть она видит свою задачу в том, чтобы разжигать и

поддерживать пламя свободы в философии и в книгах по истории, в естественных науках и в народном образовании, во всем и везде увлекать юношество сверкающей силой великих прогрессивных идей и вести его за собой. Пусть она помнит, как много способствовало возвышению фашизма падение демократической идеологии: пассивность и слабость гуманизма, яд реакционных философских взглядов, мистическая чертовщина, ставшая на место разума, истины, прогресса, свободы человеческого достоинства; духовный нигилизм, моральный релятивизм — вместо твердых и боевых гуманистически-демократических убеждений. Освободительная война народов, как молния, прорезала эту мрачную тьму, сгустившуюся над человеческим духом. В борьбе не на жизнь, а на смерть за самые основы цивилизации противостояли друг другу ценности и побрякушки, истина и ложь, добро и зло, гуманность и жестокость — столь непримиримые, что никто не мог уклониться от выбора между ними. Многие и многие интеллигенты взялись за оружие, чтобы самоотверженно защищать те гуманистические демократические принципы, которые они прежде считали «устаревшими». Нет, устарели лишь многие внешние формы, в которых были выражены эти принципы, но не их глубокое содержание, не они сами. Это прочно вошло в сознание. Нельзя позволить, чтобы люди отказались от понимания этого факта.

Ведущие представители интеллигенции 22 декабря 1943 года, в десятую годовщину победы Димитрова перед Лейпцигским имперским судом, опубликовали в «Нью-Йорк таймс» открытое письмо с заявлением о своей преданности тому бессмертному пламени, которое за десять лет до этого нашло в Димитрове своего бесстрашного защитника и хранителя. В этом открытом письме, подписанном такими людьми, как Артуро Тосканини, Альберт Эйнштейн, Серж Кусевицкий, Говард Дж. Мак-Мэррей, Рамонс Массей, декан университета Кристиан Гаус, митрополит Бенъямин, полковник Раймонд Роббинс и многими другими, было сказано:

«Георгий Димитров говорил, и его слова были, как пламя. Его могучий голос, подобно яркому лучу света, проникшему в мрачное подземелье, неожиданно прорезал нацистскую тьму. Человек стоял, как скала, перед судом бандитов, один, бесстрашно, непоколебимо, — это

был голос гнева, самой справедливости и человеческого достоинства. Человек вступил в нацистский ад и вышел оттуда живым. Человек перед судом нацистов учинил им допрос и заклеил их перед всем миром. Он бросил им в лицо: вы лжете! Фашизм лжет, убивает, подстрекает к войне и преследованиям людей, он грабит домашние очаги и библиотеки, он несет ужасную смерть женщинам и детям, всем невиновным. Для вас нет на земле места, вас нужно истребить. Гитлер завопил: довольно! Он должен молчать! Заставьте его замолчать! Но Димитров не из тех, кого можно заставить замолчать. Истину не заставишь замолчать. Ее голос звучал, как колокол, по всем городам: вы, нацисты, стоите перед мировым судом! Вас судят все, и вы должны ответить за свои преступления!

Процесс о поджоге рейхстага закончился десять лет тому назад. Но огонь все еще горит. Огонь этот — истина, и он горит и горит, и вся вода, которой его пытаются залить враги, весь песок, которым его пытаются забросать, и весь их шум не могут загасить это могучее пламя. Огонь горел. Огонь горит.

Протест всего мира, возмущение всего мира освободили Димитрова. И он обращался к нам с пророческими словами о том, что следует теперь сделать, с чего начать: это, подчеркивал он, — создание единого фронта, установление единства действий в каждой стране, повсюду, во всем мире.

Единство действий стало поворотным пунктом. Конференции — Московская, Каирская, Тегеранская — отвечали требованию истории: цивилизация не должна погибнуть!

Теперь свободолюбивые народы сомкнулись в этом единстве объединенных наций, народы всех рас и разного цвета кожи, всех политических взглядов; народ на предприятиях и в крестьянских дворах, на горящих полях сражений, борцы в подпольном освободительном движении, партизаны за линией вражеского фронта, отголоски борьбы которых прорезают глухую нацистскую ночь. Тысячами нитей связаны между собой народы мира в этой великой войне за то, чтобы стереть фашизм с лица земли и построить лучшую жизнь.

Такова была картина будущего, за которое был готов умереть Георгий Димитров. Такова цель, за которую на всех континентах, морях и океанах люди идут на

смерть. Там, где некогда стоял один Димитров, маршируем теперь мы со всей силой и единством наций.

В эту десятую годовщину процесса о поджоге рейхстага мы чтим имя и мужество Георгия Димитрова. Огонь, который должен был уничтожить его, уничтожает теперь фашизм. Мы чтим тех великих борцов — рабочих, деятелей искусства и науки, людей всех религий, которые не идут ни на какие компромиссы с нацизмом. Мы чтим тех, кто идет за ними, безыменных мужчин и женщин, живых и мертвых, великие легионы антифашистских борцов в каждой стране, заслугой которых является то, что голос надежды не умолкает. Честь всем, дело которых стало общим делом в совместных битвах на полях сражений!

Огонь горел, он горел в течение десяти лет, десяти страшных лет. И он не потухнет. Он не потухнет до окончательной победы над дьявольскими силами. Эта победа — это наше обязательство, во имя его, во имя миллионов загубленных ни в чем не повинных людей и всех героев, которые и сейчас идут навстречу смерти».

Выдающиеся представители американской интеллигенции, опубликовавшие это открытое письмо, поняли историческое значение борьбы Димитрова, увидев в ней высоко поднятый факел, бросающий свет вперед, в новую эпоху развития человечества.

Пример Димитрова учил: не отступайте перед зверем! Посвятите этому делу всю свою жизнь, весь свой разум, решимость и страсть! Так и только так вы спасете себя и человечество от фашистского чудовища!

Димитров призывал: объединяйтесь в единый мировой фронт борьбы против фашизма, который является смертельным врагом не только рабочих, но и всех свободолюбивых людей и народов! Объединяйтесь во имя свободы и мира, преодолевайте раскол демократических сил, боритесь!

Свобода победила. Теперь задача заключается в том, чтобы объединенными усилиями всех свободолюбивых людей и народов без различия партий, рас, форм государственного правления, мировоззрений сохранить достигнутое, не растратить и не забыть то великое, что завещала война за свободу.

Достигнуто очень многое. Перед человечеством открываются новые исторические перспективы.

Создан союз, сотрудничество трех решающих великих держав — Советского Союза, Великобритании и Соединенных Штатов Америки. Эта коалиция буржуазно-демократических великих держав с великой социалистической державой означает не только победу, но, до тех пор, пока она существует, также и надежную гарантию мира во всем мире. Поэтому каждый, кто пытается вызвать здесь конфликт, кто стремится разрушить этот союз, является врагом мира, врагом народов. Поэтому обязанность каждого человека, который не хочет новой мировой войны, не хочет гибели цивилизации, заключается в том, чтобы всеми своими силами бороться за прочность и за укрепление этого союза, за мирное соревнование между различными общественными системами и политическими убеждениями. Давайте защищать союз западных демократий с социалистическим Советским Союзом, эту основу мира во всем мире и сотрудничества свободлюбивых народов.

Во многих странах создан национальный фронт свободы, прогрессивное патриотическое боевое сообщество различных слоев народа, партий и организаций.

Накоплен дорогой оплаченный опыт, который показал, что демократия не должна превращаться в формальность, не должна становиться простой рутинной и условностью. Она должна быть бдительна, носить боевой характер и руководствоваться великими идеями. Она должна выступать против заговоров реакционных клик с самого их зарождения. Ей нужны люди, которые показали себя в борьбе за свободу, а не болтуны, трусы и интриганы. За свободу нужно бороться всегда, ежедневно, ее нужно защищать и укреплять изо дня в день.

Мировой фронт свободлюбивых народов, дух боевой демократии, воплощенный в новом типе борца за демократию, — таков был идеал, за который Димитров тринадцать лет тому назад готов был отдать свою жизнь. Завоевание и обеспечение мира во всем мире, свободное развитие всех наций — вот цель, для достижения которой пожертвовали своими жизнями миллионы людей на полях битв в войне за свободу. Превратить эту мечту в действительность на длительное время, достичь этой цели для нас и для будущих поколений — это обязанность, которая лежит на всех нас.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
РЕЙХСТАГ ГОРИТ	7
ГЕРМАНСКИЙ ИМПЕРИАЛИЗМ	23
В КАНДАЛАХ	63
ДИМИТРОВ ДОВОДИТ ХИЩНИКА ДО БЕШЕНСТВА	82
ЧЕРТОВ КРУГ	123
ПОБЕДА	139
НЕУГАСИМОЕ ПЛАМЯ	163

Уважаемый читатель!

Более подробно с историей Лейпцигского процесса Вы можете ознакомиться, если прочтете книгу: Г. Димитров «Лейпцигский процесс».

В ней собраны материалы процесса, речи Г. Димитрова, его тюремные дневники и письма. В книге также публикуются секретные документы гестапо, свидетельствующие, как фашистские палачи хотели расправиться с замечательным революционером.

Книга выходит во втором полугодии 1960 года.

Предварительные заказы на нее принимают все книжные магазины.

ЭРНСТ ФИШЕР

СИГНАЛ

Борьба Димитрова
против поджигателей войны

Перевод с немецкого С. Комарова

Редакторы Ю. Кулышев и Ю. Швецов

Художник С. Сергеев

Технический редактор Т. Попова

Сдано в набор 23 декабря 1959 г. Подписано в печать 12 марта 1960 г.
Формат 84 × 108¹/₃₂. Физ. печ. л. 5¹/₂. Условн. печ. л. 9,02. Учетно-изд. л. 8,96.
Тираж 40 тыс. экз. Заказ № 1211. А 00142. Цена 2 р. 10 к.

Госполитиздат, Москва, Д-47, Миусская пл., д. 7.

Типография «Красный пролетарий» Госполитиздата Министерства
культуры СССР. Москва, Краснопролетарская, 16.

